

Саша Николаенко

Светофор, шушера,
и другие
граждане...



Саша Николаенко

**Светофор, шушера
и другие граждане**

«Автор»

2026

Николаенко С.

Светофор, шушера и другие граждане / С. Николаенко —
«Автор», 2026

Если бы вам кто-нибудь сказал, что у вас на плече сидит шушера? Разве вы бы поверили? А они, между прочим, вполне реальные жители большого города, только невидимые нашему глазу. Вот и устраивают эти шушеры неприятности простым гражданам. А еще то светофор неожиданно встанет на пути, то кодла повстречается, то ведьма в окне напротив, то черт, призывающий сделать доброе дело...В общем, стоит быть начеку: скучать точно не придется!

© Николаенко С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Светофор, шушера и другие граждане	6
МГКБ 1	7
Бульвар Карбышева 22.2.199	16
Доброе дело	19
Зверь	24
Безымянная звезда	27
Письмо	32
Первое мая	37
Бумажный черт	41
Когда деревья станут большими	44
Жалостливый бес	46
Чайник	50
До завтра	54
Маша	58
Гроб	60
Жди меня	65
Валентин и Валентина	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Саша Николаенко

Светофор, шушера и другие граждане

Глава

Проза со своей неповторимой формой и содержанием.
Павел Санаев

У Николаенко фразы действительно похожи на тонкие штрихи черной капиллярной ручки, которой она создает свои незабываемые графические фантазии.
Андрей Жвалевский

Не каждый может похвастаться собственным миром. Даже если это писатель. Иногда откроешь и – ба, знакомые всё лица! Здесь, у Льва Николаевича (Николая Васильевича, Михаила Афанасьевича, etc), ты уже бывал. А вот про Александру Николаенко такого не скажешь. Мир у нее точно свой. Кого-то он оставит равнодушным. Кто-то даже ногами затопает от возмущения – что, мол, за бред? Но кое-кто, уверен, непременно захочет там поселиться.
Валерий Введенский

Светофор, шушера и другие граждане

*Мы жили по ту сторону неба, и вам иногда казалось, что нас нет вовсе.
Но мы были рядом. Мы плакали вместе с вами, и вместе с вами мы улыбались.
От ужаса, стоя с вами на крыше, мы закрывали глаза. И крылья не спасали нас от
падения.*

*Мы помним запах асфальта после дождя.
Мы слышим, как скрипит под вашими ногами крещенский снег.
Как волны набегают на берег.
Как оглушительно в топленом июльском солнце у воды стрекочут кузнечики.
Как белы березовые струны.
Как тянутся к звездам рыжие языки костра.
И как щиплет глаза от дыма.
Как пахнет в доме яблочным пирогом.
Что лежит в бабушкиной икатулке.
Как сквозь кленовое золото сверкает сапфировый атлас.
Как июньский ветер гонит вдоль тротуаров тополиную вату.
И как на черную землю ложится черемуховая скатерть.
Мы знаем, как больно.
Мы знаем, как страшно.
Мы слышим, как поздней ночью воет за вашими окнами вьюга.
Как вязнут ваши шаги в осенней, ноябрьской стыни.
Как крутит февральская поземь.
Как тихо бывает в доме. Повсюду. На всей земле.
Когда дует ветер, а в глаза летит снег.
Когда нет сил смотреть вперед, и хочется опустить капюшон и повернуть обратно,
чтобы утро смотрело в спину.
Когда небо лежит на крышах и не может подняться, как сырое колючее одеяло.
Когда в темноте тают фонари, а под ногами ничего не остается, кроме ржавых люков,
чужих следов и льда.
Помните о нас.
Мы всегда с вами.
Мы вас не покинем.*

МГКБ 1

«...Вообразите себе, доктор, такую картину!» – говорил, прищептывая и испуганно озираясь, Илья Ильич Покусаев, выпучивая на доктора нижнюю губу и отчаянно взмахивая светлыми ресницами.

Доктор, Асмодей Иштарович Фенриц (заведующий кафедрой досудебной психиатрии «МГКБ» № 1), уютный, румяный человечек, в домашнем вязаном свитере под халат, с брюшком и лысинкой в проборе, смотрел на Илью Ильича ласково и слушал его внимательно, как заботливая мать выслушивает свое больное дитя.

Время от времени Асмодей Иштарович понимающе кивал, с удовольствием прищелкивая языком, и делал пометки в карте больного.

Илья Ильич продолжал:

«Выхожу я вчера вечером, после смены – я по специальности арматурщик (работаю вахтенным методом) и выхожу в седьмом часу – из подземного перехода на метро Октябрьское поле, в сторону торгового центра „Пятое Авеню“, где продуктовые палатки. Думаю купить пирожки с капустой к чаю...»

Асмодей Иштарович прищелкнул. Илья Ильич продолжал:

«...Под ногами снежные хляби. Чавкает. Не знаю, что они добавляют в эти осадки, но у них такая смесь получается, что вся обувь, простите, коту под хвост...» – Илья Ильич выпучил губу в ожидании одобрения.

Доктор понимающе кивнул.

«Под хлябями лед. Ужасный ветрила, в лицо снежные колючки... Порядочная холодыга...» – Илья Ильич обхватил себя руками за плечи и зябко передернулся.

Асмодей Иштарович прищелкнул. Илья Ильич продолжал:

«И тут, не поверите, вижу я их...»

Доктор заинтересованно приподнял бровь и сделал в карте пометку.

«То есть не знаю даже, как и сказать...» – Илья Ильич растерянно умолк, беспомощно размахивая ресницами.

Асмодей Иштарович ободряюще кивнул. Илья Ильич продолжал:

«...Прохожие, конечно, все как обычно, кто на встречу, кто обгоняет в направлении остановки. На углу, у светофора, такси, еще кое-какой народец у палаток топчется, „Табак, пивоводы-хлеб“, очереденка с хвостиком у „Шурма-хачапури-пончики“, и освещение при этом хорошее. Не экономят на горожанах: фонари, витрины, гирлянды. Вывески. Это, говорю, все как обычно, и тут, значит, простите, вижу я вдруг... Они!...»

Тут Илья Ильич насупился, закопошился. Заозирался. И вдруг притих, пронзительно сверля лоб доктора маленькими злыми, недоверчивыми глазами.

Асмодей Иштарович улыбнулся. Его румяные щеки благодушно поехали вверх, в окулярах сверкнули веселые искорки.



Илья Ильич со свистом вздохнул... И продолжал:

«Можете мне не верить. Я тоже сперва как-то не очень, знаете ли... То есть думаю, все, мол, можете меня выносить вверх кармашками, у меня белая горячка. По земле болезнь – птичий грипп, вчера в новостях передавали, что одна женщина из города Калинина пала жертвой этой напасти. Ну и я, видимо, тоже. Пал. Так я подумал.

Но они... Они себе, скажу я вам, скачут ни на что не взирая. Главная же неприятность в том, что все остальное, кроме них, как обычно. И если бы не они, я и вовсе бы не подумал, что приболел. Горло не болит, в голове не кружится. И все мысли у меня, как у нормальных людей...»

Асмодей Иштарович прищелкнул.

Илья Ильич пояснил:

«...Хочу сказать, я еще помню, что вышел из перехода на эту сторону, где палатки, за капустными пирожками. И что мне потом обратно, через дорогу, к 61-му троллейбусу. Или к девятнадцатому, какой первый подойдет, мне это, в общем, не важно, они после моей остановки только в разные стороны едут: 61-му только до 62-й больницы. А 19-й до Крылатских холмов...»

Асмодей Иштарович внес что-то в карту, бросил взгляд на часы и нетерпеливо защелкал кнопочкой «Паркера».

Илья Ильич понял и заторопился:

«Значит, это я еще помню, и все остальное со мной в порядке.

Если бы, как я и говорю, не они.

Но они скачут. Некоторые сидят на ступеньках. У книжного магазина несколько столпилось. Шепчутся. Что-то, вижу, выдумывают.

Некоторые на козырьках.

На троллейбусных проводах, простите, как обезьяны качаются и под ногами шныряют...»

Илья Ильич опять боязливо оглянулся. Спина его сморщилась. Нижняя губа зашлепала. Замахали ресницы.

Асмодей Иштарович посмотрел на Покусаева с любопытством. Прищелкнул. Одобряюще закивал.

Илья Ильич продолжал:

«На вид они, доктор, скажу я вам, ничего такого особенного. Вроде крысенышей или дамских собачек. Небольшие. То есть не так чтобы очень небольшие. А честно сказать... Всякие.

Например, у табачного киоска такой кабанюка сидел, что не приведи господи.

Пятак, рыло, глазюки красные – угольки, сидит и думает, пакость такая, что я его, собаку, не вижу!»

Илья Ильич вдруг с удовольствием хмыкнул. Но тут же скис, снова опасливо заозирался. И продолжал:

«Потом я смотрю, идет мне навстречу гражданин, вполне себе ничего, прилично одетый, в куртке. А на плече у него сидит такая шушера! На дохлую кошку похожа.

Шушера, в общем, на плече сидит у прохожего, и ничего себе, я вам скажу, шушера... Тоже здоровенная. Правда, чуть поменьше того кабанюки, что у табачного киоска торчал, но тоже ничего себе кикимора.

Вроде как катается. А он, этот бедняга, ни слухом ни духом.

Я ему, конечно, ничего говорить не стал. Я тоже не очень люблю, когда ко мне всякие ненормальные на улице пристают. У нас, особенно у метро, всякие любят приставать к прохожим...»

Илья Ильич взглядом призвал доктора к пониманию.

Асмодей Иштарович понимающе кивнул.

«Если бы вот вам, например, доктор, – продолжал Илья Ильич доверчиво, откупоривая ногтем лак с письменного стола доктора, – кто-нибудь сказал, что у вас на плече сидит шушера? Разве вы бы поверили?...»

Доктор усмехнулся, отрицательно покачал головой, признавая очевидное.

«...И я ничего говорить тому гражданину не стал. Он бы еще подумал, что я того (Илья Ильич покрутил у веска). С катушек в ниточку...

И я иду дальше, только стараюсь на хвосты этой пакости не наступать. Хотя сложно, конечно. До того этой дряни под ногами много. Просто так и шныряют! Так и шныряют!»

Илья Ильич изобразил шныряние шушер глазами. Зрачки его быстро забегали. Ресницы затрепетали.

Асмодей Иштарович понимающе цокнул.

Илья Ильич продолжал:

«...Через дорогу туда-сюда, из пакетов с продуктами высовываются, из карманов торчат. На остановке тоже видимо-невидимо...

Бегают, значит, они. Копошатся. Думают, их никто не видит. В обнимочку на люках канализационных сидят, греются. Точно кошки.

И вот, я думаю, ладно. Ясное дело, что мне то ли мерещится это все, то ли снится. Проснусь, и никакой больше шушеры...

Илья Ильич посмотрел в лоб доктора с обреченной усмешкой.

Доктор сделал запись. Илья Ильич продолжал:

«И вот, только я этим себя успокоил. И стал ходить смотреть, какие есть журналы с газетами в палатке печати (и делаю при этом такой вид, что я их не вижу, шушер этих), как все нормальные люди...

Потому что, доктор, я вдруг подумал, что если они, шушеры, вдруг поймут, что я их заметил, то мне несдобровать. Мне почему-то так показалось, доктор, что им это может пригодиться не по вкусу. И не понравится. И хожу себе, возле „Союзпечати“, жду троллейбуса и делаю, значит, вид. Что ничего такого.

Как вдруг, говорю, одна эта пакость, шмокодявка, шасть! И мне прямо с фонаря за шиворот! И под пальто...

Илья Ильич сжался на стуле в комочек, беспомощно заморгал, спрятал голову к себе в колени и замолчал.

Асмодей Иштарович пощелкал кнопкой «Паркера».

Илья Ильич продолжал глухо, из-за колен:

«Кто такое выдержит, доктор, я даже не знаю, тут, доктор, нужно иметь стальные нервы. Тут нужна выдержка. Самообладание.

Она (шмокодявка), вероятно, думала, что я ничего не замечу. Что я стерплю. Сделаю вид, что это оно так и надо.

Я, может быть, и сделал бы такой вид, а потом дома ее из пальто – и в окошко, на улицу вытряхнул. Но ведь у нее – Господи, твоя воля! – коготочки! Она шуршать и бегать.

Она что-то там стрекотать.

То ли у нее щетинка такая колючая, то ли усики, но у меня, честно скажу, волосы стали дыбом...

Илья Ильич высунул голову из коленей и с тоскливым отчаянием посмотрел на доктора. В глазах несчастного помешанного стояли мутные слезы. Зрачки косили в разные стороны. Губы дергались и дрожали.

Асмодей Иштарович сделал запись и прищелкнул.

Илья Ильич продолжал:

«И тут я закричал.... Содрал я, доктор, пальто и давай ее, эту пакость, прямо там, на остановке, из одежды вытряхивать. Я ее вытряхиваю, а она, гадина такая хитрая, видимо, сообразила, что я ее заметил, и уже не в пальто, а под пиджак забилась. Я пиджак тоже сдернул, трясу! Трясу что есть мочи. И женщину какую-то попросил, помогите, мол, Бога ради, снимите с меня эту пиявку, а то я, ей-богу, терпеть не могу.

Только зря напугал гражданку. Она бежать.

Тут я чувствую, шушера где-то уже на коже шебуршит, в области лопаток.

Я и рубашку содрал. Содрал я рубашку, кричу, верчусь как оглашенный... а отодрать ее не могу. Руки сзади не достают. Это как когда почесать спину хочется, и чешется, доктор, всегда именно в том месте, где не достать.

Или как, например, укусить себя за локоть...



Только зря я все это, доктор, затеял. Надо, видно, мне было до дому дотерпеть.

Потому что все эти (они) те, что на троллейбусных проводах, и те, что на козырьке печати, и на крышах которые, на люках и подоконниках, они все ко мне. Они все на меня набросились, и они меня облепили...

Повалили на землю. Скрутили. Одна в рот залезла, чтобы я не орал. Несколько в уши.

Скрутили и потащили они меня... к канализационному люку. Мелкие держали крышку, а те, что покрепче, – заталкивали..

Притащили, они меня так, доктор, к их главному...»

Илья Ильич громко булькнул кадыком. Глаза его округлились, в них стоял ужас.

Асмодей Иштарович щелкнул.

Илья Ильич собрался с духом и продолжал:

«...Этот главный у них, Господи ты Боже мой, такой страх, что не приведи мамочки.

Сидит он, значит, бурдюк бурдюком, за письменным столом сидит, в кресле. А морда, доктор, у него волчья, и глаза у него желтые, доктор, страшные! Без зрачка.

Они (те, что меня тащили) нажаловались ему на меня. Ему, вижу, очень то, что они ему нашептали, не понравилось.

И он им велел связать меня крепко-накрепко и сделать мне неизвестный укол...» – всхлипнул Илья Ильич.

Асмодей Иштарович понимающе покивал.

Илья Ильич продолжал:

«После этого укола я ничего не помню. И чувствую себя значительно лучше. Их больше не видел. Хотя проверить под кроватью и в тумбочке мне не дали санитары».



Илья Ильич с робкой надеждой заглянул в глаза доктору.

Асмодей Иштарович покачал головой. Ласково улыбнулся. Прищелкнул.

Язык у профессора досудебной психиатрической экспертизы оказался узкий и ярко красный, с двойной пимпочкой на конце.

Изо рта доктора при улыбке высунулись клычки.

«...Вот, и у вас, доктор, – прошептал Илья Ильич, взмахивая бледными ресницами, – простите, тоже, кажется, что-то изо рта лезет...» – завершил свой рассказ Илья Ильич Покусаев и вдруг с душераздирающим криком бросился через письменный стол плашмя, душить Асмодея Иштаровича.

Доктор вжал кнопку экстренного вызова. В кабинет вбежали санитары. Илью Ильича крепко треснули по затылку дубинкой, оторвали от доктора, заломили ему руки за спину, одели в смиренное, уложили на каталку, защелкнули на запястьях и щиколотках ремни и увезли...

Спустя полчаса после инцидента Асмодей Иштарович Фенриц, заведующий кафедрой досудебной психиатрии «МГКБ» № 1, вернулся из буфета в свой кабинет. Насвистывая, доктор пару раз, бодро потирая ладони, прошелся от угла к углу, снял медицинский халат. Аккуратно разгладив складки, повесил на плечики в платяной шкаф. Присел за письменный стол, задумчиво пощелкал в воздухе кнопочкой «Паркера» и записал в карту помешанного Ильи Ильича Покусаева дополнительные необходимые медицинские процедуры.



После чего доктор вытянул под столом ноги, задрал локти за голову, потянулся, крикнул от удовольствия и туфлей о туфлю снял с копыт башмаки.

Бульвар Карбышева 22.2.199

Молодой человек, самой непримечательной наружности, замотанный в шарф неопределенного цвета и в оранжевом пуховике (таком старом, что из него торчали перья), быстро шел (скорее бежал) по улице Народного ополчения в сторону Карамышевской набережной.

Молодого человека с самого утра преследовали неприятности.

(Из тех, какие обычно преследуют, или же встречаются всех молодых людей, торопящихся в нужную им сторону.)

Никогда нельзя забывать о «чертях спешащих»: это проворные, шустрые, как обезьяны, бесцветные существа; годами живут они в светофорах, лишь бы переключить свет на красный.

В лифтах, чтобы отвечать из кнопки диспетчера скрипом и скрежетом.

В кабинках водителей троллейбусов и автобусов, чтобы захлопнуть перед чьим-нибудь носом дверь.

В будильниках, чтобы зазвонить тогда, когда уже слишком поздно или еще слишком рано.

В ящиках трюмо, чтобы спрятать ключи, паспорт, страховой полис или кошелек.

В зеркалах трельяжей, чтобы плюнуть в ответ.

Перебежать дорогу черной кошкой.

Перегородить на парковке выезд.

Раскопать яму.

Припорошить снежком гололед.

Открыть люк.

Организовать объезд.

Шлепнуться сосулькой или целым подъездным козырьком...

Да-да: это очень трудолюбивые, беспокойные, суетливые черти, никогда не знающие покоя.

Свои пакости они повторяют из года в год, из зимы в зиму, не изобретая ничего нового.

Посты ГИБДД...

Фонарные столбы.

Очереди на заправку.

Стертые тормозные колодки, и прочее, и прочее, и прочее – вот их запатентованная специфика.

К несчастью, эти живучие, неистребимые, как рытвины на дорогах, злобные альбиносы своими мелкими пакостями наносят гораздо больше вреда человечеству, чем хитроумные черти высшего уровня.

О! Если б вы только видели, какая тьма этих мерзких шепелявых тварей сидит на плечах людей, сбежавшихся к месту аварии! Это их крысы мордашки высовываются из окон маршруток, в ожидании увидеть хоть что-нибудь любопытное (не размазало ли кого-нибудь по асфальту).

А сколько их, вместе с дымом пожара, выпрыгивает из окон и скачет по раскаленным подоконникам, играя лапчонками в ладушки.

Их мерзкие тельца по горло в слезах и человеческом горе. Их шерстка слиплась от крови и воняет горелым мясом.

Они ужасны. Но с ними ничего не поделаешь. Они плодятся самым простейшим из всех простейших способом. Ибо они – черти злых человеческих мыслей.

А их очень много. Гораздо больше, чем на первый взгляд кажется. И да, конечно, они невидимы.

Разве вы когда-нибудь видели свои злые мысли? Так-то.

Но вернемся к нашему герою, что спешит по улице Народного ополчения. В сторону Карамышевской набережной.

Итак, это длинный молодой человек, самой непримечательной наружности, в оранжевом пуховике с торчащими из баллона перьями.

В правой руке нашего молодого человека полиэтиленовый крепкий пакет, с двойными ручками, для прочности. На пакете оранжевая эмблема «Пицца к вам мчится» с адресом ресторана «Пиццаквამмчится» и телефоном отдела заказов и доставки.

В пакете у спешащего молодого человека битком этих коробок с «Пиццакваммчицами», из чего легко можно заключить, что этот молодой человек курьер отдела доставки.

Навстречу курьеру летят с холодным жужжанием снежные пчелы. Потрепанные кроссовки его то и дело оскользаются в наледях. Ветер выдирает из руки курьера пакет с «Пиццакваммчицами», раздувая полиэтилен парусом. Светофор при его приближении мгновенно переключается на красный. На беднягу курьера подают с крыш сосульки, тротуар ему то и дело перебегают невесты откуда взявшиеся черные кошки (или коты, неизвестно). Собачонки бросаются к его ногам с диким пещерным визгом, желая разодрать в клочья джинсы, и так далее, и так далее.

Однако мы, имея сейчас такую странную возможность, пожалуй, приглядимся к этому курьеру как следует...

Вот он подходит к переходу на ту сторону Народного ополчения. Светофор, перекресток. Самое чертячье место.

Светофор, разумеется, тут же сменяет для молодого человека желтый сигнал на красный. И тут...

Незаметный щелчок озябших от снега пальцев, и красный фонарь, неохотно, но очень быстро (можно сказать пугливо) переключается на зеленого человечка.

Не глядя по сторонам (а это следует делать на наших перекрестках непременно) молодой человек бежит через дорогу. И вот (чего и следовало ожидать, надо было смотреть по сторонам!) на беднягу доставщика, слева, во весь свист несется черная тонированная БМВ номером **С-А-666ТА-Н-А**.

Ах! Ну, сейчас ему будет на орехи! С восторгом думают зрители и черти дорожных улиц. Однако странно...

Вот тонированная красotka СА666ТАНА летит в сторону Карамышевской, а наш счастливчик курьер, как ни в чем не бывало, размахивая длинными ногами и своим пакетом с «Пиццакваммчицами», сутулясь от ветра, уже спешит в направлении Бульвара генерала Карбышева.

Вот он спешит, этот странный курьер, мимо здания районного суда, и к нему, неторопливой походкой хозяина жизни, направляется полицейский, в отличном теплом дутике, и лицо его из тех, какие никогда не бывают разными.

Очень странно, господин полицейский! Ведь этот молодой человек самой обыкновенной русой наружности, и по пакету видно, что это просто спешит вовремя выдать заказ доставщик пицц.

Быть может, господин полицейский, вы надеетесь пожить одной из коробок курьера? (Что ж, это, знаем, бывает.)

Однако не тут-то было.

Вот он стоит, бедняга, растерянный, смотрит в спину оранжевой куртки (такой старой, что из нее торчат перья), голодный и недоумевающий.

Прощайте, господин, желающий пожить за чужой счет!

Неудачи вам и в следующем нехорошем деле!

Курьер уже на бульваре. Курьер у подъезда.
Вот он торопливо сверяется с адресом, выданным диспетчером.
Генерала Карбышева. 22.2.199.
И быстро набирает домофонный номер.
Теперь скачками по лестнице.
Вверх, чтобы уже без всяких лифтовых неожиданностей.
Сверяется со временем.
Фух!..
Успел.
Молодой человек улыбается и звонит в дверь.

Вика (очень симпатичная кареглазая барышня, шестнадцати лет) вздрагивает и рассыпает украденные из бабушкиной тумбочки таблетки «Рогипнола» по кухне.

«Кто это может быть?» – родители возвращаются с работы около восьми. А сейчас только два.

Она только вернулась из школы. Она видела, как под фикусом рекреации Сашка целуется с Ленкой. С этим невозможно жить.

Звонок повторяется.

Вика, задвинув таблетки тапочком под буфет и наспех заметя остальные в мусорный совок, идет открывать.

– Кто?

– Отдел доставки «Пиццакваммчится».

– Какая еще «Пиццакваммчица»?

– Бульвар генерала Карбышева. 22.2.199. На ваш адрес заказ. «Маргарита» три сыра.

– Я ничего не заказывала!

– Заказ оплачен.

– Кем?!

– Не знаю, девушка, мое дело доставка.

И она открывает дверь.

Молодой человек протягивает растерявшейся Вике квитанцию: «Пожалуйста, распишитесь в доставке».

Пицца пахнет ослепительно.

Вика расписывается и, захлопнув за курьером дверь, улыбаясь, несет «Маргариту» на кухню.

Наступая на последнюю таблетку тапочком.

Кто эта Ленка? Кто Сашка?! – Виктория Николаевна Светлова, детский кардиохирург Института сердечно-сосудистой хирургии на Ленинском, мама двух дочек и сына, наш Ангел, Виктория Николаевна, разве вспомнит?

А если и вспомнит вдруг, когда дочки на ужин закажут пиццу.

То вздрогнет.

И пальцами коснется крестика на груди.

Молодой человек спешит дальше.

У него еще несколько недоставленных пицц.

К тому же диспетчер постоянно отправляет на старенький «Алкател» новые сообщения.

Доброе дело

Привязался как-то на троллейбусном кругу к одному человеку черт и думает: «Побежка-я, пожалуй, вот за этим, плохоньким лопухом, и что-нибудь ему по дороге натворю; подножку, может, подставлю или еще чего, будет у меня знать!» – так он подумал, этот черт.

Потому что черти ужасно в нашем городе мерзнут под Крещенские. Тут, у нас, им никто котлов не топит и шарфиков с шапками не вяжет.

Не до того, честно говоря.

А черти к теплу привыкли. Им плюс 24 и то страшная холодина.

Ну а на черте, под Крещенские, шкура, сами знаете какая, плесень одна да короста, вот и все утепление. И черт, конечно, продрог как собака, (хотя так ему и надо) и был злой-презлой.

А того человека, к которому черт привязался, звали Петр Николаевич Пончиков. Он был так себе, конечно, человек, ничего такого особенного. Лицо у него тоже было не очень чтобы красивое, с двумя глазами и носом.

В общем, как у всех.



Погода была хорошая, то есть так себе, честно говоря, была погодка. Холодина градусов минус под двадцать, а может, и все минус двадцать пять, ну и дело, конечно, уже вечером происходило.

Возле девяти.

В общем, вылезает этот Пончиков из 61-го маршрута, и закурил. Он любил подымить, после поездки. Он закурил, и захрустел себе преспокойненько по снежку к подземному переходу.

И может, пока этот Пончиков, мимо Всехсвятского, вдоль зеленого забора проходил, чертяка бы и отвязался, но тут Пончиков еще остановился у палатки, купить себе пива с чебуреком, а пока стоял в очереди, колокола Благовест зазвонили, и Пончиков нечаянно наступил черту на левую лапу. А там у них, как известно, любимая мозоль.

Черт, конечно, осоловел.

У него и без того к Пончикову сразу какая-то неприязнь возникла, ну а тут еще это...

А нужно сказать, что Пончикову не простой черт попался, а древний, живучий. С самого каменного века пакостил людям.

Как начал пакостить, так и увлекся. Пакостил, пакостил, пакостил...

День за ночь.

Век за век.

Пока на троллейбусном кругу к Пончикову не привязался.

Этот черт еще по всем НК канцеляриям фотороботом в сводках проходил.

Ну и на него, как обычно, было мало улик, но очень много косвенных доказательств.

Адвокатом у черта был тоже черт, да еще такой богатый и хитрый, что этого, нашего, прямо из зала суда вениками гнали на волю.

Ну и физиономия у него, у черта (того, что к Пончикову привязался), до того дрянная была, что лучше никогда вообще такую гадость в зеркале не видеть.

Ну и хитрый, разумеется, был, коварный.

Знал «Кудаккому», «Комучего» и «Комуичтопошептать»; и в какую бородавку вцепиться.

Такая, в общих чертах, на тот момент сложилась неуютная ситуация.

Съел Пончиков чебурек, и космические звезды, и электрические фонари, и зеленые кресты аптек светили Пончикову путь, до самого подземного перехода.

Он шел себе, вдоль Всехсвятского зеленого забора и колокольни, и ему было тепло внутри его куртки, а снаружи на куртку Пончикова падал тихий и синий праздничный снег.

А за нашим Пончиковым хромал этот, с рогами и рыльцем, и на его плешивую шкуру снег тоже падал, и если приглядеться, то даже можно было заметить его противное очертание. На седенькую выюжку похоже.

Но никто не приглядывался, и, разумеется, Пончикову даже в голову не приходило на своего попутчика оглянуться.

Только они Всехсвятский миновали и выходят к пожарной башне, где бесплатная общественная уборная, как попутчик прыг-скок, и шлепнулся Пончикову на левое плечо.

Шлепнулся и говорит: «Слушай, Пончиков, сделай доброе дело!»

Пончиков этому не удивился, (мало ли в голове у человека гуляет мыслей?), и идет себе уже вниз по ступенькам, на ту сторону, где у Пончикова квартира.

А черт опять за свое: «Сделай доброе дело» да «Сделай доброе дело».

Пончиков даже оглядываться начал, думает: «Может, и правда мне сделать какое-нибудь доброе дело?» Только какое доброе дело сделать и кому, непонятно.

В переходе подземном в десятом часу вечера пусто, все козырьки позакрывались, только ветер гуляет. Ветер гуляет, а черт не отстаёт.

И еще очень плохо этот теплый подземный ветер пахнет (крысами, наверное).

Как Пончиков стал подходить к выходу, запах этот еще усилился, и Пончиков видит: сидит на ступеньке нищий, в тряпки серые замотанный, лица не видно, ничего не видно, и шапка, в шапке ничего, только снег с улицы заносит.

Тут черт чуть ухо Пончикову не откусил, так разверещался, шипит: «Сделай, Пончиков, доброе дело!» Не сделаешь, мол, «доброе дело», Пончиков, тебе же хуже будет.

Ну ладно, думает Пончиков, сделаю, пожалуй, может, мне из этого какая-нибудь выгода тоже будет.

Только Пончиков это подумал, как сразу у него тихо в голове стало, только ветер с улицы свистит.

Пончиков порывлся в кармане, уцепил перчаткой мелочь и в шапку нищему бросил. Хотел идти дальше, а нищий вдруг говорит: «Мало это, Пончиков, для доброго дела», дай, мол, еще.

Ладно, вернулся Пончиков назад (он уже к тому времени на пару ступеней поднялся), полез за пазуху, достал бумажник. У него с деньгами не особенно вообще было, но жить можно.

Хотел 50 рублей нищему дать, но черт говорит, что и этой суммы для доброго дела не достаточно. «Что же, – думает Пончиков, – не сто же рублей мне этому нищему отдавать? Мне их самому мало!» А черт говорит: «Не торгуйся, Пончиков, так добрые дела не делают, давай сразу 500!»

Пятьсот рублей было у Пончикова, в запасном карманчике, но он даже удивиться не успел, откуда черт об этом знает. Рука сама между пуговиц потянулась, и тут Пончиков сделал настоящее доброе дело. Положил нищему в шапку, поверх мелочи эти 500 рублей.

Подождал, думает: что нищий ему на это скажет? А нищий этот сидит куркуль куркулем, даже спасибо Пончикову за доброе дело не сказал, а только синий снег с улицы опять ему в шапку падает.

И пошел Пончиков дальше, и он думал, что сделал очень большое доброе дело и ему такое точно где-то зачтется, может, зарплату прибавят, а может, аванс пораньше дадут.

Так шел Пончиков дальше, и даже озирался по сторонам, не найдется ли ему на снегу тысяча, взамен тех пятисот рублей.

А черт сидел у него на плече довольный-предовольный, а значит, дело-то было совсем не в порядке.

Раз ему так радовался черт.

Тут мы с Пончиковым и его хитрым чертом простимся и на несколько ступенек спустимся назад, в подземный переход.

Там сидит куркуль нищий, замотанный в тряпки...

Сидеть-то он сидел, да уже не сидит. Сцапал нищий 500 рублей в лапку, мелочь Пончикова к себе в карман переложил, шапку надел и почапал по переходу в сторону Всехсвятского.

Вышел, но не к собору пошел, а к магазину. Там такой магазин есть, что ночью тоже работает. Купил себе на все 500 Пончиковых рублей дешёвой водки. Вышло много, и пошел, стеклом звеня, под синим крещенским снегом к себе домой.

Пришел куркуль домой, у него там хлам, вонь и страшно. Пусто, тихо.

Сел за стол, и стал пить Пончикова «доброе дело» на все 500 Пончиковых рублей.

Пил, пил куркуль и к утру умер.

Звали этого куркуля Александр Сергеевич Васечка. Он когда-то был электрик первого разряда, но там у них многие пьют. А Васечка пил тоже, потом с этим Васечкой еще другие плохие дела случились, так что он еще больше запил, потом у Васечки мама умерла, а он ее очень любил, и еще пил долго. А после Нового года совсем пил.

И с работы его давно прогнали, и жена от Васечки ушла, и дочку забрала, и думала она только о том, как бы Васечка не пропил квартиру.

А Васечка пропил табуретку, пропил мамино трюмо, книги тоже все пропил, пропил каракуль, свое пальто, но квартиру не успел. Квартира дочке с женой осталась.

А от Васечки ничего не осталось. Только грязное одеяло да синие ноги.

И падал и падал тихий крещенский снег.
Такое вот у Пончикова вышло доброе дело.

Зверь

У станции метро Полежаевская (где остановка 43-го троллейбуса) Зверь, Толян, Шакал и Саня Дыба отловили падлу.

Шакал зацепился за падлу взглядом и сказал падле: «Ну, че?»

Дыба ухватил падлу за грудки, легко приподнял над тротуаром и стал трясти. Зверь прислонился к забору и чиркал колесиком БИК.

Толян с Шакалом зашли сзади.

Шакал улыбался. Толян задумчиво выковыривал из зуба мудрости волокна свиной шаурмы. Он (Толян) таких падл в казармах мочил кирзачами. Мочил, да не домочил.

Это для начала. Потом следовало отвести падлу во дворы, и убивать.

Но пока следовало с ней просто поговорить по душам.

То есть вытрясти из нее (падлы) всю ее пархатую душу.

То есть подавить, чтобы не рыпалась.

«Да ладно?»

«А че?»

Был теплый топлёный мартовский вечер. Небо очень чистое и высокое стояло над городом.

Сквозной простуженный ветер носил по дорогам фантики.

Сверкали стеклянные витрины продуктового супермаркета.

У подземного перехода горела красная буква «М» (Метрополитен).

Вдалеке таяла красная «М» – «Макдональдс».

...Спешили домой прохожие. Некоторые встревоженно оборачивались. Некоторые останавливались подальше, на безопасном расстоянии, посмотреть. Но кто же станет связываться со Зверем?

...Толяном, Шакалом и с Саней Дыбой?

Мальчишечки из CAO (Женатик и Упырь) отвернулись серыми бушлатами к ступеням подземного выхода. Сосредоточились на выходящих.

(Мало ли кто закурит при выходе?)

(Мало ли кто откупорит пивную банку?)

Женатику с Упырем тоже надо жить (Особенно, конечно, Женатику, у него жена сука!)

Но Упырю тоже жить хочется.

Падла не сопротивлялась. Висела над тротуаром, дрыгала пижамой.

Выпучивала желтые подлючьи бельма.

(Знала падла, что ей конец.)

(Знала, чье мясо съела.)

Падла!

Остановился малыш. Любопытные розовые щечки. Губки-пузырики. Глазки – фонарики. Выпучил.

Засунул в рот палец и заревел.

Мать треснула сыночку перчаткой. Поволокла дальше за руку.

Материнский инстинкт. Мать спасает дитя.

43-й подошел, фыркнул. Выпустил и впустил пассажиров.
Тронулся. Рога поползли в провода.

Стало пусто.
Падлу поволокли.

Молодой человек в красном пуховом дутике, таком старом, что из него кое-где торчали куриные перья, бегом поднялся по подземной лестнице.

Скачками.

Пакет с «Пиццакваммчицами», в котором еще оставалась пара давно остывших коробок пицц, раздувался парусом.

Наконец-то!

Наконец-то он.

Приятней смотреть за ним, чем за ребятней с улицы Куусинена и ребятней из ГИБДД Хорошевского САО.

(Кстати последние заметно постарелись, а первые так и не заметили ничего.)

А мы с ним.

С «Дутиком».

Но что-то странное происходит иногда с людьми, если наблюдать за ними исподтишка и пристально.

Вот еще только что по ступенькам бежал знакомый нам уже молодой человек, самой непримечательной наружности в своем потрепанном дутике, со своими «Пиццакваммчицами», но уже Женатик и Упырь провожают стеклянными взглядами маленькую старушку.

Просто «Агата Кристи!» а не происходящее.

Старушонка (мисс Марпл с палочкой) спешит к троллейбусной остановке. Она, вероятно, хочет поспеть на новый 43-й троллейбус...

Не тут-то было!

Торпедой старушонка врывается в самую гущу происходящих событий. И замахивается на Зверя палочкой.

«Это что такое, молодые люди!»

«Молодые люди!»

«Люди!»

«Гдежевылюди?!»

«Что вы такое делаете?!»

«Гдежевылюди?!»

«Я сейчас милицию позову!» – верещит отвратительная старушка отвратительным голосом...

И опля!

Дыба получает от старушки костылем меж ушей.

БАЦ!

(нет)

ХРЯСЬ!

Шакал высовывает клычонки и тенью пятится от этой Шапокляк вдоль забора.

Дыба от изумления выпускает из захвата падлу.

Секунду (но очень долгую) Зверь и бабуся смотрят друг на друга...

«Гдежевылюди?!»

Ребята из САО (спецприемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке) вынужденно, но всё же неумолимо приближаются.

(А куда деваться?) – старушечий визг коромыслом.

Падла бежит к подземному переходу.

Тени зверей растворяются в сумерках.

Молодой человек, в пуховом потрепанном дутике размахивая пакетом с «Пицквampire-цами», спешит вниз, в сторону Народного ополчения.

Безымянная звезда

Одну красивую женщину, из дома напротив, бросил любимый.

А она никого не любила так, как любила его.

У нее никого не было кроме него, на всем белом свете. И хотя она была красивая-прекрасивая и могла еще хоть тысячу раз выйти замуж за кого угодно, но она решила иначе.

Любимый уехал за границу (он был дипломат) и привез себе оттуда иностранную длинноносную жену.

Некрасивую-прекрасивую. Но зато какую-то важную-преважную. С замком в Швейцарии. Кажется, баронессу или переводчицу.

А та женщина, из дома напротив, постарела от горя и одиночества.

Выпила много таблеток и уснула навсегда, чтобы забыть хоть на минуточку о любви.

* * *

Жил-был с родителями, на улице Песчаной дом три, Славка Выборнов. Учился в художественном универе им. Гр. Строганова, на отделении монументальной живописи. На первом курсе.

И была у него своя комната. У папы с мамой большая, а у Славки – маленькая.

Зато с балконом.

На этом балконе стояли у Славки подрамники, загрунтованные холсты, этюдник, походный рюкзак с масляными красками и старые школьные работы, свернутые в рулон, которые мама не разрешала выбрасывать.

Был этот Славка так, ничего такого особенного. Талантами не блистал. Внешне тоже был не брют.

Длинный лопухий очкарик. Худой, как мечта модели. Уши облупленные. В волосах перхоть. Под носом не то чтобы усики, но что-то вроде того пробивается. Волосы веником. Нос баранкой. На носу прыщик.

Еще и не компанейский. Курить не курит (астма).

Пить тем более мама не разрешает, потому что мальчик больной, гастритный, с искривлением позвоночника, грыжей и хроническим тонзиллитом.

Ко всему этому аллергия на весенние запахи и аквариумных рыбок.

Словом, «таких не берут в космонавты», а они и не настаивают.

В общем, мало того что не брют, но еще и ни фиги не гардемарин. С плоскостопием.

Учился на платном. За две тысячи долларов в год (1998).

Папа помогал институту с выставками. У него (у папы) было приватизированное (в двух шагах от метро) полуподвальное помещение на Пажской. Художественный салон «Андромеда».

И папа время от времени предоставлял эту «Андромеду» под юбилейные выставки Строгановского универа.

Все шло хорошо.

Декан был доволен.

А если доволен декан, то удовлетворена и вся Монументальна кафедра. Красотка секретарша.

Бухгалтерский отдел.

И усатая заведующая хозяйственной частью Нардыр Захармовна.

Словом, все шло себе хорошо, и шло бы так себе дальше, но однажды папа Славки купил себе новый телескоп.

Этот папа, хотя и носил малиновый пиджак и пальцы в карманах, хотя и ездил на лиловом Корвете с вороньими крыльями и без всякого калькулятора просчитывал ситуации на финансовых рынках, был в душе мечтатель.

Мечтал открыть на небе новую звезду. Купить ракету. И полететь на эту звезду на ракете.

Еще лучше с сыном.

Но сын оставался к папиной страсти безучастен. Сын был незаинтересованный в вопросе сторона, и вот папа купил себе где-то в Дублине новый телескоп, а сыну отдал свой старый, подсчитав, что заинтересованность в полете на звезду возникнет у сына к тому времени, как будут скоплены деньги на ракету, а звезда открыта.

Подаренный папой телескоп Славка, отодвинув подрамники, кое-как втиснул на балкон, и дуло телескопа уставилось мутной крестовиной на крестовину окна дома № 33 на соседней улице.

В перевернутой вверх ногами картинке отразилась сидящая вниз головой ворона, край железного подоконника и белая занавеска.

Славка поехал в институт.

Пока он спал на лекции по истории искусств и пересдавал «Технологию», пока сидел в буфете и ел свою булочку, запивая ее компотом, пока то да се, окно дома на соседней улице (в которое уставился телескоп) распахнулось и перевернутая вниз клювом ворона с недовольным «карррр» переместилась на качельную перекладину. Глаз телескопа не отрываясь таращился в крестовину, и вот рама распахнулась, и в ней отразилась женщина, красивей которой еще никогда не бывало на свете. Правда, женщина тоже была вверх ногами, то есть вниз головой. Но это не мешало ей оставаться прекрасной.

У нее были черные волосы. Белое лицо. Вишневые губы. И синие глаза.

Такие огромные, как фарфоровые блюда.

Это шутка, конечно, насчет блюда, но вовсе не шутка, когда женщина, приближенная волшебством телескопа к окну незадачливого первокурсника, похожа на звезду.

Еще хуже, конечно, когда она и есть эта самая звезда.

Как звали эту женщину и была ли она звездой на самом деле, той самой, быть может, звездой, которую хотел открыть на небе (и так и не открыл) Славкин папа, мы не знаем и никогда не узнаем.

Но в тот сиреневый весенний вечер, накануне майских, когда из распахнутых форточек так вкусно пахнет жареной картошкой, а небо, распахнув бархатные крылья, открывает для влюбленных и кошек млечные пути и звездные туманности...

В тот вечер, когда в космических мириадах сияют (как звезды) звезды...

В тот вечер, когда кажется, что стоит лишь оттолкнуться от тротуара кроссовкой и полететь... В тот вечер, когда расплавленная лава заката стекает за крыши гаражных товариществ...

А на доминошных столиках играет радио.

Славка вернулся из института и, пока мама еще не позвала его ужинать, полез на балкон за подрамником.

И случайно заглянул в телескоп.

Случайно заглянул в телескоп, как в лунный глаз. И в этой луне увидел ее.

Вверх ногами.

Или может быть, просто мир сам был вверх ногами, до той секунды, пока Славка Выборнов случайно не заглянул в телескоп?

Это неизвестно.

Во всяком случае в эту секунду что-то точно перевернулось в мире.

Звезды со своими космическими мириадами, туманностями и млечными путями опрокинулись под ноги прохожих, а кошки, велосипеды, песочницы, качели и балкон, на котором стоял Славка, взлетели в небо.

Очень легко все это и естественно получается, когда в лунном глазу телескопа отражается (в окне дома на соседней улице) для одного-единственного человека на свете звезда.

Звезда не видела Славку. Не закрывая окна и не задвигая штор, она стояла замерев в оконной раме. Двоясь в стекле. А потом она ушла в комнату.

И погасла.

В комнате было темно.

Славку позвали ужинать.

После ужина в комнате напротив горел свет.

Каждое перевернутое движение женщины-звезды, было отчетливо видно глазу телескопа. Звезда ходила по комнате вверх ногами, зябко обнимая себя за плечи.

На тумбочке лежал закрытый «крамеР» (Ремарк).

Славка...

Славка смотрел.

Так замороженно человек смотрит на огонь. На воду (на то, как другие работают) и на звезду.

Женщина ходила.

Стояли часы.

Славка следил за ней не отрываясь. Боясь дышать. Она была так близко, что ему казалось, что она может услышать стук его сердца. Еще ему казалось, что достаточно протянуть руку, чтобы коснуться края ее белого платья.

(Какие банальности!)

Обыкновенный мальчишка, очкарик, первокурсник с носом баранкой и прыщиком, вместо того чтобы искать на небе звезду или клеить макет, подглядывает за незнакомой красивой женщиной (возрастом ничуть не моложе его собственной матери) в телескоп...

Что бы сказал мечтатель папа...

А уж что бы сказала мама, даже думать не хочется...

А что скажем мы?

Мы скажем...

Он был счастлив.

Пройдет много лет. Погаснут звезды. Кометы будут скользить в бархатной невесомости пустоты.

Пройдут дожди.

Сойдут снега.

Папа, так и не открыв звезду и не скопив на ракету, будет лежать рядом с мамой на Новодевичьем, как сейчас лежит в большой комнате глядя в потолок, а свет той звезды из окна на соседней улице так и не погаснет.

Не выгорит млечный путь до нее.

Млечный путь, такой короткий, что кажется, до нее можно дотянуться рукой.

Не погаснет, но и не сократится.

Окно не приблизится.

Женщина никогда не улыбнется Славке. И ее тонкие длинные пальцы никогда не коснутся Славкиной щеки.

Никогда. Только сегодня. Только сейчас это расстояние можно сократить.

Женщина открыла буфетную дверцу. Достала бокал и коньяк.

Высыпала в ладонь таблетки.

Много.

Славкино сердце бабахнуло где-то у подбородка.
И запила коньяком.

Славка обмер. Что-то страшное происходило в желтом как луна глазу телескопа. В его перевернутой вверх ногами раме.

Звезда подошла к окну.

Теперь она смотрела на Славку точно, в самом деле видела его. Смотрела не отрываясь. Синими огромными глазами. И опять улыбалась.

Не ему.

Потом глаз погас. Женщина щелкнула выключателем.

В колодце двора играло радио. Стучало домино.

Стучалось сердце.

Пахло сиренью и ландышем.

Не заботясь о том, услышат ли родители, Славка, треснув дверью по косяку, выскочил в коридор и помчался по лестнице...

Он бежал спасти ее, женщину, или звезду? Не важно.

Но как? Как ему было найти ее? Ее окно на соседней улице...

Это было невозможно. Увы.

Все окна погасли.

Погасла звезда.

Задрав голову, Славка стоял под чужими окнами, стараясь высчитать расстояние.

Которое? Хотя бы примерно? Это было невозможно.

Увы.

Каркнула ворона.

Славка узнал занавеску. Край железяки подоконника. Щербинку кирпича.

6-й этаж.

Бросился в подъезд.

Позвонил в нужную дверь. Ему долго не открывали. Наконец за дверью зашаркало. Раздался голос какой-то старухи.

«Кто?» – продребезжала она.

«Откройте!»

«Милиция!»

«Пожар!»

«Открывайте немедленно!» – завопил Славка и замолотил кулаком по клеенке двери квартиры № 34.

Других квартир по нужную сторону лестницы не было на шестом этаже этого дома.

Старуха за дверью что-то бурчала. Копошилась. Сердилась (видимо, из-за того, что ее разбудили).

Наконец звякнула цепочкой, и приоткрыла на щелочку. Славка с силой рванул дверь на себя.

Оттолкнув старуху, бросился в комнату.

Все было знакомым.

Диван. Буфет. Приоткрытая дверца. Коньяк на столе и недопитый бокал.

Пустой пузырек феназепама.

Женщины не было.

Славка беспомощно обернулся.

Старуха вошла следом.

Она смотрела на Славку и ухмылялась беззубым ртом.

Ужасная, сморщенная, похожая на сгнившее яблоко старуха.

«Где она? Куда вы ее спрятали?!» – пролепетал Славка.

«Кто она? – проквкала старуха, – тут кроме меня никого нет...» – продребезжала она.
И опять усмехнулась...

«Вы что-то перепутали, молодой человек...»

И старуха захихикала.

Славка посмотрел на часы. Он не ошибался. Те же часы, что он видел в глаз телескопа.
Остановившаяся стрелка. Остановившееся время.

Старуха визгливо смеялась.

Тряслась бородавка.

Смех прокатился по комнате. Только сейчас Славка разглядел паутину и пыль. Толстые
слои пыли лежали на подзеркальнике. На тумбочке. На полу. Запах пыли и лекарств. Прогорк-
шей губной помады.

И одиночества.

Запах смерти, желтый от света тусклой настольной лампы.

И книга «Ремарк» на тумбочке, с едва различимым под слоем пыли названием.

Он ушел.

Хохот старой ведьмы стучал ему в спину.

«Славка, ты спятил? Куда ты ходил?!» – спросила мама. Рядом с мамой в прихожей в
своем зеленом халате топтался папа.

Славка прошел мимо них, не отвечая.

Хлопнул перед носами дверью. Повернул замок.

Спотыкаясь о холсты и подрамники, протиснулся к телескопу и, наклонившись, снова
заглянул в лунный глаз.

Звезда в белом платье, облитая лунным светом, стояла в черном окне.

Синими глазами смотрела на Славку.

И улыбалась.

Прошло много лет.

Наступила весна.

Седой, длинный, совершенно одинокий старик, шаркая тапочками, прошел по темному
коридору, не зажигая свет.

Вышел на балкон, сел на маленькую табуретку перед старым папиным телескопом.

И заглянул в глазок.

Звезда в белом платье, облитая лунным светом, стояла в черном окне.

Синими глазами смотрела на старика.

И улыбалась.

Письмо

У одного человека, Александра Сергеевича Пташкина, не сложилось в любви. У всех остальных как-то складывается в любви (у них как-то с этим получается), а у него никак, и можно даже сказать, ни туда ни сюда. И ни тыр ни пыр.

С ним в школе (с первого по шестой класс) училась одна Маша Шишкина (ничего такого особенного в этой Шишкиной не было, так, самые обыкновенные «анютины глазки» с косичкой и завитушками). В общем, сами понимаете.

Но Пташкин буквально с первого взгляда пропал.

Пропал, и больше ничего.

(Это такое бывает с человеком, не часто, конечно, но случается.) Полюбить то есть.

И это бы еще ничего, но эта Шишкина тоже выражала ему симпатию. Она иногда на него так обернется и говорит: «Пташкин, домашку по матике сделал? Дай списать!»

Или так сядет, профилем (у нее был профиль такой, сами понимаете, с завитушками). От которого у каждого может с сердцем зайтись. Вот и с сердцем Пташкина такая же история.

И еще они с Машей однажды сидели на соседних стульях в актовом зале, на торжественном вечере по случаю праздника Октябрьской революции.

И завитушки эти (черт, видно, их завил) были прямо рядышком с Пташкиным. И он из-за этого возьми да и полюби Машу окончательно, раз и навсегда...

Такие, в общем, дела.

А потом он приходит, на следующий год, в седьмой уже класс и думает: «Сейчас Шишкину увижу!» – и ничего, между прочим, подобного у него не вышло.

(Человек, как говорится, предполагает, а черт помогает.)

И вместо Шишкиной, за Шишкиной партой (первой у окна), какой-то Вася Голубкин в очках, и длинный, как водонапорная башня.

Вот в общих чертах и вся история.

Машины родители были «выездные» (она хорошо одевалась, красиво, да, и у нее больше всех было заграничных фантиков от жвачек и разноцветные польские ластикки), и они собрались и уехали по работе куда-то туда. В свою границу, и Маша с ними пропала.

И все.

И пришлось Пташкину жить дальше без Шишкиной.

И он жил без Шишкиной, уже скоро 30 лет и три года.

В 99-м году Пташкину, правда, попала на трамвайной остановке девушка, тоже как Маша (ничего себе), и он с ней пару раз даже сходил в театр Маяковского (у Пташкина мама тогда работала в этом театре кастеляншей), но потом не смог он. Потом его как отрубило, и он дальше не стал продолжать эти отношения. Хотя мама его и хотела внуков. С другой стороны, Пташкинская мама знала (на собственном опыте), что от женщин одни неприятности, и настаивать на внуках не стала...

А так, между прочим, у него (у Пташкина) было высшее техническое образование, социальный пакет и перспектива карьерного роста, потому что он уже десять лет работал торговым представителем по продаже подержанных грузовых автомобилей.

На работе Пташкин демонстрировал клиентам эту подержанную грузовую технику (включая подъем кабины и пробную поездку), обедал по талонам, и ему почти каждый месяц приходилось выезжать в служебные командировки, для установления контактов и заключения актов купли-продаж в закрепленном за ним регионе ЦФО.

А маму Пташкин уже к тому времени похоронил и жил один-одинешенек на улице Берзарина, все в той же кирпичной семизэтажке (да вы такие знаете) на четвертом этаже с балконом.

Боже мой! Какая тоска-то...

Хоть бы этот Пташкин куда-нибудь переехал, что ли!..

В 32-й квартире на четвертом этаже со стареньким лифтом.

И окна Пташкина выходили на школьную крышу, которую зимой заносило снегом, скрипел под окном, как в детстве, лопатой дворник, на проводах сидели вороны, а весной, когда сходил снег, в лужах на школьной крыше плавали в синем небе черемуховые облака.

Вот только из-за этих командировок Пташкин не мог завести себе какую-нибудь животинку, у него даже все мамины цветы из-за этих его командировок пересохли, и остались на кухонном окне только кактусы. Которым было все равно.

Зачем же он родился, этот бедняга Пташкин на свет? Уж не затем ли, не для того ли, чтобы получить от жизни социальный пакет (включавший документ о добровольном медицинском страховании и бесплатные обеденные талоны), и иметь возможность продавать поддержанную грузовую технику, и поливать раз в неделю на кухонном подоконнике кактусы, которым было все равно?

Конечно нет! Совершенно не за тем Пташкин родился на свет!

Нет! У нашего Александра Сергеевича была одна тайна.

У него была тайна.

Каждую месяц нашему Пташкину приходили письма...

Письма эти приходили к нему из совершенно разных городов;

...Ростов. Анадырь. Львов. Нижний Новгород. Волынь. Днепропетровск. Донецк... (и т. д.)

И даже один раз пришло письмо ему из Канады (Квебек), а второе – оно тоже пришло Александру Сергеевичу из Канады (Британская Колумбия, город Ванкувер).

Письма были подписаны красивым и ровным женским подчерком. И обратный адрес с названием города, индексом предприятия связи, районом и номером дома указывал адресатом Марию Владимировну Шишкину!

«Неужели?...» – затаив дыхание подумает, быть может, доверчивый читатель...

И нет, разумеется (ответим мы).

Не бывает никаких чудесных «неужели» на белом свете.

Дело состояло в том, что эти письма бедняга писал себе сам. Да, он писал их сам, сам себе, и они иногда опережали даже его возвращение из командировки...

Это грустно! – это и вовсе даже невыносимо, скажете вы?

Но знаете, до чего же это были прекрасные письма! Они все были о любви.

О том, как они с Машей встретятся, о том, что Маша любит его и скучает по нем.

Она (Маша) вкладывала в эти письма открытки с видами города, откуда посылала письмо, и все они, без исключения, пахли фантиками иностранных жвачек. Очень вкусно.

И как же радовался наш Александр Сергеевич, когда по возвращении из очередной командировки Машино письмо уже лежало в почтовом ящике с номером его 32-й квартиры...

Как бережно он брал его в руки, и прятал на сердце, и спешил домой, чтобы прочитать поскорее, что она ему написала...

Вы скажете еще, что это ужасно, что это какое-то помешательное сумасшествие?

Ничего подобного! Александру Сергеевичу Пташкину было от этого хорошо! Хорошо, понимаете ли?

Он их ждал, эти письма.

И он всегда отвечал на них...

«...Милая Маша! Как же я рад был получить снова твое письмо! Иногда мне кажется, что в моей жизни нет счастливее секунды, когда, открыв ящик, я вижу на дне его от тебя конверт. А когда на дне пусто, у меня разрывается сердце. Наверное, я давно бы умер от тоски, если бы не твои письма. Я и живу только от письма твоего до письма. Я просыпаюсь и думаю: Скорее. Скорее! Вдруг уже мне пришло твое письмо?!

У меня, Маша, все хорошо, вчера оформили сделку, на целую партию в Нижневартовск подержанных грузоподъемных автомобилей, и завтра еду.

Вчера еще, представляешь, поскользнулся я тут у нас, на остановке, и шлепнулся прямо на дорогу под колеса, и чуть меня не раздавило.

Но только ободрал штанину, и всех делов. Люди меня подняли, пришлось возвращаться домой и переодеваться. Такая вот у нас по-прежнему скользкотень. Да и у тебя там, судя по виду на открытке, Маша, тоже ничего себе творится.

Береги себя.

Помни, что я без тебя не могу жить. И очень люблю тебя.

Твой Саша...»

А она ему пишет...

Вот, например:

«...Милый Саша! Ты всегда был такой неосторожный! Помнишь, как ты в четвертом классе сломал ногу на физ-ре, когда прыгал через козла?

Все гоготали. Ты, наверное, вспомнишь сейчас, Саша, что и я тоже.

Но ты только знай, я смеялась, а мне тебя было так жалко, Саша! Саня! Мне кажется, я уже тогда очень любила тебя.

Может ли такое быть?

Мне кажется, так и было.

У меня разрывалось сердце.

Если бы ты знал, Сашка, как я плакала, когда родители решили продать квартиру!

Мне страшно было подумать, что я больше никогда тебя не увижу, Саша!

Я тогда написала тебе письмо.

Но я так и не решилась даже просто бросить его тебе в твой на первом этаже дома ящик.

Мне было стыдно, что ты обо мне подумаешь... Дура!

Скорее бы нам с тобой уже встретиться.

И ты береги себя, ради меня.

И я люблю тебя.

Маша...»

Сколько можно так мучить хорошего человека?

Да уже чуточку и потерпеть осталось...

Два дня.

Вот они и прошли, и он, наш Пташкин, уже вернулся из (куда он там ездил?), а, да Нижневартовск.

Он вернулся, и, конечно же, первым делом он к своему почтовому ящику! И вот! Опять письмо опередило его!

И он скорее вызвал лифт, и первым делом чемодан в прихожей бряк в коридоре, и в грязных ботинках скорее на кухню.

Распечатывает письмо, прямо в пальто и куртке (ну он же один живет, ругать его некому, сам потом помоем полы).



И он читает, он читает, но соображает он медленно, все-таки целые сутки в дороге и в поезде не особенно выспался (плацкарт)...

И он читает такое письмо:

«Здравствуй, Саша! Наверное, ты меня уже не помнишь, конечно, мы с тобой учились в одном классе с первого по шестой. Маша Шишкина? Помнишь, я у тебя еще все время домашку по матике списывала...»

Что же еще рассказать об этой странной истории? Вот, словом, видите, как бывает?..

Мы бы, конечно, привели тут целиком письмо Маши Шишкиной. Но это вышло бы перед ней неудобно.

(Она же его не нам с вами писала.)

Первое мая

В один прекрасный день, первого мая, когда все, у кого есть дачи, уже уехали (на все праздники), а все, у кого есть билеты в Турцию, улетели, на соседнем балконе 34-го дома по улице Рогова сидел черт.

Черт сидел и таращился в наш дворик, где уже распускалась сирень и вовсю цвела черемуха.

В песочнице дети строили куличики.

Дядьки играли в домино.

Мамы качали коляски.

Папы пили пиво.

Черту было скучно, и он уже подумывал выковырять из стены какой-нибудь кирпич или просто взять с подоконника цветочный горшок и сбросить его кому-нибудь на голову, как вдруг большое окно соседней квартиры распахнулось, и из него высунулась Мария Сергеевна.

Мария Сергеевна посмотрела с минуту, как все чирикает и распускается во дворе, и провела пальцем по стеклу. На пальце осталась черная зимняя копоть.

И Мария Сергеевна решила помыть окно.

Она сходила в ванную за алюминиевым тазом и мочалкой, порвала старую простынь на тряпки и, взгромоздившись по стулу на письменный стол, взялась за дело.

Черт приободрился.

По железяке карниза, неслышно цокая копытцами, он вскарабкался на подоконник к Марии Сергеевне и, пока она разводила по стеклу мочалкой пыльную жижу, прошмыгнул в квартиру, чтобы все разузнать и разнюхать.

Мария Сергеевна оказалась женщина одинокая.

В записной книжке три телефона.

В холодильнике борщ в маленькой кастрюльке. На буфете одна чашка. Одна тарелка.

На тумбочке валидол. И книжка «Любовь навсегда» в тоненькой дешевой обложке.

Над кроватью портрет актера Меркулова.

Черт потер лапкой о лапку и прыгнул Марии Сергеевне на плечо.

– Вон там, в уголке, еще не домыва, – шепнул черт.

Мария Сергеевна посмотрела, куда указывал черт, и старательно потерла в указанном месте мочалкой.

– Молодец! – похвалил ее черт. – Это ты правильно сообразила, помыть окна. Чего сидеть в темноте? – продолжал дальше черт.

Мария Сергеевна доверчиво улыбнулась.

– Вот только... Знаешь, Маш... С другой стороны, не пойму я, для чего ты все это затеяла? – продолжал черт. – Вот, нормальные люди, они для чего окна моют? – продолжал черт.

– Для чего? – спросила черта Мария Сергеевна, и черт широко и приветливо ухмыльнулся:

– Эх ты, глупая! Не так задаешь вопрос! Не для чего, а для кого! Для кого-то! Придёт, например, у какой-нибудь женщины муж из магазина, а она ему скажет: «Посмотри, Саша, как я хорошо помыла окно в большой комнате!» Он посмотрит и скажет, что да, действительно хорошо.

А потом они пойдут обедать.... Порежут салыца, положат на черный хлебушек к борщику.

Покушают и пойдут вместе гулять. В парк.

А ты?

– А что я?

– А ничего... – махнул на Марию Сергеевну копытцем черт. – Как ела всю жизнь борщ одна, так и будешь есть. Ни детей. Ни денег, ни нормальной работы. Ни мужа, ни дачи...

Ни подруг.

Так я вот и спрашиваю, зачем моешь окно? А?

Мария Сергеевна опустила мочалку.

По стеклу потекли черные мыльные слезы.

По щекам самые обыкновенные.

Человечьи.

Чирикали воробьи.

Качались на качелях дети.

Стучали доминошники.

Матери качали коляски.

Папы пили пиво.

Выгружались дачники.

Самолеты несли семьи в Турцию...

А она... Действительно.

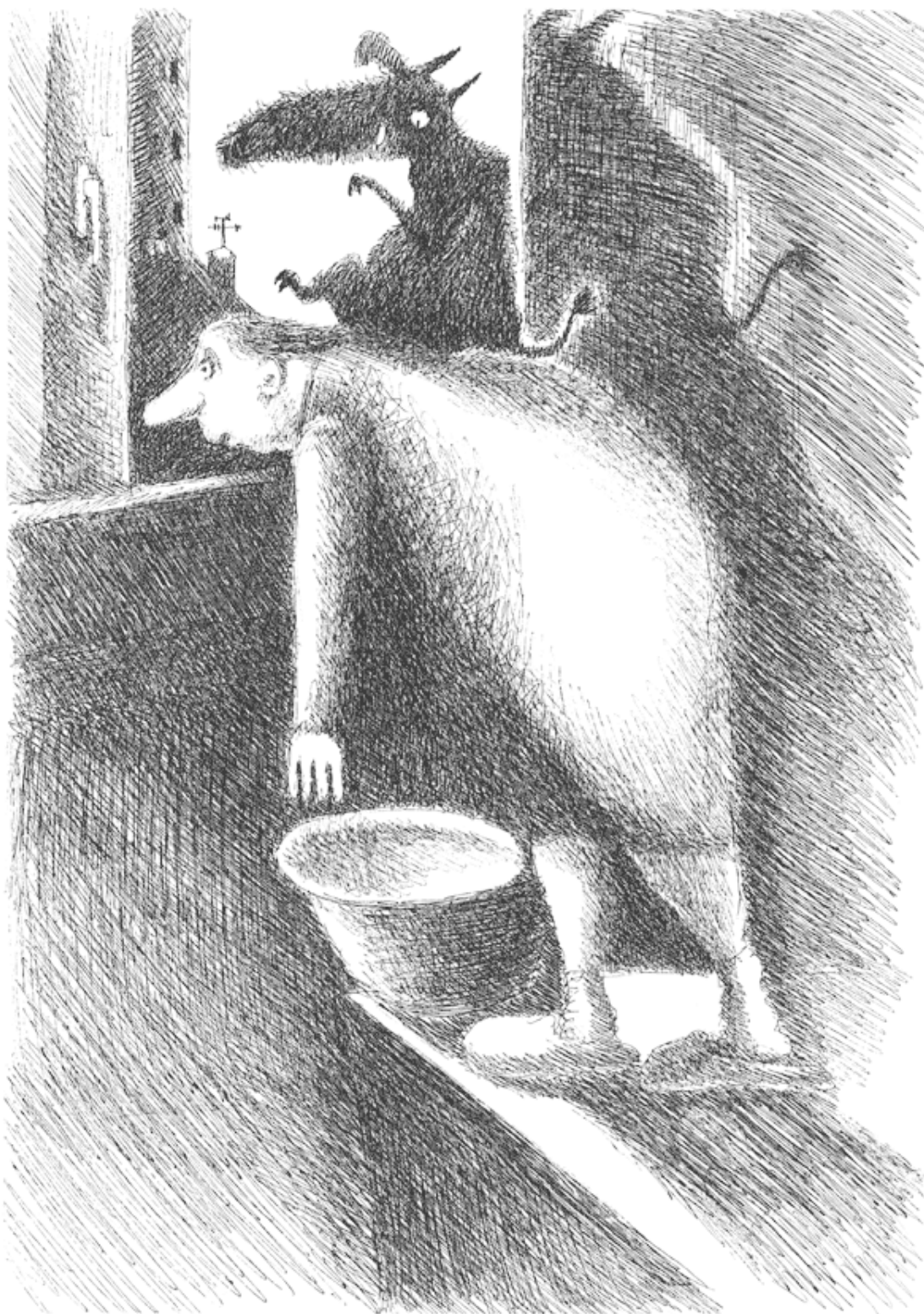
Толстая, больная женщина. Одинокая, с отеками ног и больным сердцем, без всяких перспектив, никогда не замужняя...

Зачем-то мыла окно...

Черт был прав.

Мария Сергеевна выпустила из пальцев мочалку.

Та плюхнулась в черную мыльную пену.



Черт не толкал ее, черти не занимаются рукоприкладством. Зачем, если знать, что и когда сказать человеку?

Никаких банановых шкурок не нужно. Некоторые слова опасней банановой кожуры...

Мария Семеновна упала на тротуар послушно. Без крика.

Картофельным мешком в синем домашнем халатике.

Но все так же оглушительно чирикали воробы. Распускалась сирень, и отцветала черемуха.

А черт побежал дальше, через бульвар, в сторону 6-й детской поликлиники.

На бульваре играл оркестр.

Бумажный черт

Человек – высшая форма жизни, вершина Божественного творения, и у него все внутри и снаружи организовано не как у какой-нибудь там инфузории-туфли, амебы, моллюска или кольчатого червя; у него центральный нервный отдел! Всякие там нефроны с нейронами по всей головной коре и спинному мозгу, некие невидимые каналы обеспечивают аналитические и проводниковые функции. Информация надежней, чем в ФСБ или Центробанке, хранится в подкорке, передается наследственным путем и приобретается в процессе жизнедеятельности... работают левые и правые полушария с желудочками, хлопают, открываясь и закрываясь, митральный, трехстворчатый и легочный клапаны, на базе безусловных рефлексов формируются условные, выгибаются в нужную сторону рефлекторные дуги, бережно расходуя, хранят запасы энергии в клетках молекулы АТФ, аппараты Гольджи накапливают химические соединения, в рибосомах синтезируются белки. Окисляется глюкоза. Гемоглобин снабжает сложнейший организм кислородом. Колебания барабанной перепонки передаются слуховыми молоточками в евстахиеву трубу...

Человек приспосабливается к любым условиям среды, и мало того, он уже вовсю освоился в космосе, выйдя за границы страто– и биосфер с легкостью дифтеритной палочки! В глобальной сети человек чувствует себя свободнее вакуоли в эндоплазматической сети! А давно ли вышел он из пещеры, покрытый шерстью, с бивнем мамонта вместо отбойного молотка, дикий, необразованный, неразговорчивый и кровожадный? Ведь относительно недавно вышел! и вот уже, посмотрите, до чего докатился (имеем в виду, разогнулся)! Человек прямоходящий, гордо шагаешь ты по планете! Плечи твои прямые, грудь смотрит пуговицами вперед навстречу ветрам! Вот до чего дошел ты в процессе общественного развития! Спасибо товарищам Дарвину, Павлову, товарищу Склифосовскому, Мечникову и Пирогову! – мы хорошо осведомлены об этапах социальной и органической эволюции своего вида. Что уж говорить? – гомо сапиенс! – человек разумный, венец божественного творения...

Хвала тебе, Человек! И разумеется, хвала и тебе, Создатель...

Однако что же мы видим? На всю эту без сомнения Божественную конституцию, на всю величественность замысла Творца – черт придумал бумажку! Что такое человек без бумажки? – бумажка. БУМАЖКА! – Вот тебе, человечество, получи! – сказал черт.

И вот человек, создание из плоти и крови, со своим четырехкамерным органом, заключенным в околосердечную сумку, насквозь пронизанный нервными окончаниями, с межжелудочковой перегородкой, малым и большим кругами кровообращения, с мозжечком и альвеолами, трепеща нейронами и диффузиями, входит в 3-й Хорошевский отдел паспортного стола, за какой-нибудь удостоверительной справкой.

О, что она, что она? – вся эта Божественная инженерия, эволюция разума, любовь, надежда и вера человечества в человечность, по сравнению с этим государственным учреждением? Этим порождением пепла и серы, замкнутым кругом адской канцелярии? – Бесправная букашка! Стыдись! Ты ничто. Без номера ИНН, без печати на налоговой декларации, без заверенного нотариально факта наследования, без разрешения на вывоз дитя на побережья турецких Анталий, без печати на свидетельстве о рождении, прописки и разрешения на захождение?.. Ты ничто! И для работницы паспортного стола твой правый и левый желудочек, твой легочный отдел, газообмен и прочее – также ничто! Пусть у тебя там хоть жабры! Будь ты хоть сам человек-амфибия, и пусть твоя прокариотическая ДНК хоть трижды, хоть четырежды свернется кольцевой молекулой, – точно так же трижды она почит в бозе (скончаться в надежде на Бога) без печати на справке. Ты – ноль без дырочки, клапан без крышки, головная боль, туберкулез, холера и больше ничто.

В один прекрасный майский денек, сразу же после праздников, когда в воздухе пахло сиренью и автомобильными выхлопами, а по новенькому гудрону теплый бриз влачил первые ключья тополя, за письменным столом кабинета № 13, 3-го отделения Хорошевского паспортного стола сидела Анжелика Борисовна Жилодерова. Анжелика Борисовна вершила судьбы посетителей с 10.00 по 14.00, ставила (или не ставила) печати, принимала (или не принимала) документы, выдавала (или не выдавала) справки, выписки, бланки, снимала (или брала граждан на регистрационный учет), выдавала свидетельства, квитанции и прочие бумаженции.

После 14.00 у Анжелики Борисовны в расписании был указан обед. После обеда, следуя рабочему графику, трудовой день Анжелики Борисовны заканчивался.

Дверь в кабинет, где принимала Анжелика Борисовна, была слегка приоткрыта, и сквозь щель посетителям был виден кусок этой могучей должностной дамы. Анжелика Борисовна сидела за столом неподвижно, грозным зачесом надлобного выступа нависая над папками, и даже ветерок, беспечно влетающий в распахнутую над Анжеликой Борисовной форточку, не рисковал шевелить рядом с нею стопки бумажной документации.

Все тумбы, табуретки, диванчики, кресла и стульчики приемной были заняты. Коридорные стенки подперты стоячими гражданами. У стенда с образцами на заполнение документации толпились прочие граждане. Время шло к обеду, и с каждой секундой движения Жилодеровой делались все медлительней, глаза дамы тускнели, а пальцы едва-едва шевелились над кнопками. Наконец еще один посетитель выскочил из 13-го кабинета, как иной выскакивает из турецкой бани или лап дантиста, и в кабинет Анжелики Борисовны вошел молодой человек самой непримечательной наружности, слегка сутулый, с растрепанными волосами цвета соломы, в которых Анжелика Борисовна, к своему неудовольствию, разглядела застрявшее куриное перышко.

– Можно? – улыбаясь, спросил неприметный, и тусклый взгляд должностной дамы указал ему на стул. Молодой человек, по-прежнему приветливо улыбаясь, сел, положив ногу на ногу, и выжидающе посмотрел в выступ зачеса служащей.

– Что у вас? – нетерпеливо спросил зачес, и молодой человек вежливо протянул даме свою справку.

– Мне только печать, – кротно пояснил он.

Анжелика Борисовна неохотно взяла протянутую бумажку, промелькнула ее глазами, промелькнула еще, и тут зрачки ее внезапно сузились и зачес, поднявшись над справкой, уставился молодому человеку в лоб.

– Это что, шутка? – произнесла Анжелика Борисовна, дребезжа неожиданно взятой верхней октавой, и нетерпеливо постучала по столешнице ручкой.

– Отчего же шутка? – недоуменно переспросил неприметный, – мне только печать.

Молодой человек смотрел на Анжелику Борисовну ласково, как на мать или на любимую девушку.

– Но у вас же тут ничего не написано? – изумленно произнесла служебная дама, глядя на неприметного, как на сумасшедшего, и уже хотела гнать его вон, как вдруг, точно загипнотизированная, медленно открыла письменный ящик и, достав из него печать, послушно опустила ее на пустой лист. В ту же секунду кабинетная дверь резко захлопнулась, Анжелика Борисовна пропала из кресла, а на ее месте очутился молодой человек самой непримечательной наружности, с куриным пером в волосах.

– Следующий! – громко произнес молодой человек.

Спустя пять минут, когда стрелки циферблата над дверью приемной достигли 1300, все кресла, табуреты и тумбы паспортного стола опустели, все печати были поставлены расторопным молодым человеком, все справки розданы. Регистрации подтверждены, а свидетельства выданы.

В 13-м кабинете майский ветерок приподнимал и опускал, играя, уголок пустого бумажного листа, в центре его лежало снежно-белое куриное перышко.

Нина Петровна Трепетова спустилась по ступенькам 3-го отделения, бережно прижимая к груди выписку из домовой книги. Уже третий месяц эта симпатичная, безропотная старушка ходила как на работу в паспортное отделение к Анжелике Борисовне, но та все отсылала старушку обратно, за недостающими для такой выписки документами, которые, на несчастье Нины Петровны, так же выдавала Анжелика Борисовна. Получался замкнутый круг, но безропотная старушка молилась Богу и не теряла надежды...

В сиреневых кронах весело щебетали воробьи, цвела акация. Спустившись по ступенькам, Нина Петровна обернулась, торопливо оглянулась по сторонам и, залившись смущенным румянцем, быстро перекрестилась на дверь...

Когда деревья станут большими

Васе Птичкину, мальчику шести лет, с коротеньким носом и соломенной челкой, приснился сон, что он умеет летать.

Во сне все было как обычно: Вася стоял босиком у окна в своей маленькой комнате и смотрел во двор.

Во дворе уже начиналось лето (10 мая), а Вася опять болел, и ему нельзя было не то что на улицу, но даже если бы мама увидела, что он стоит босиком у окна, то ему как следует досталось бы на орехи.

Но мама ушла в продуктовый магазин и сберкассу, и Вася, конечно же, стоял у окна.

Это было его любимое дело.

На качелях детской площадки скрипела туда-сюда большая толстая первоклассница из второго подъезда.

Она была вся беззубая (как бабушка Тася), и очень вредная.

Подлетая, беззубая вредная девочка видела маячившего в окне Васю и с удовольствием показывала ему язык.

«Большая, а дура», – думал Вася, и ему до слез хотелось на улицу. Особенно же показать первокласснице, какой ему папа с мамой подарили взрослый велосипед «Школьник».

Но «Школьник» подарили еще на Новый год, и всю зиму Вася терпеливо ждал, когда зима кончится.

И вот зима кончилась, снег ручьями сполз с тротуаров на центральную улицу, высохли лужи, все расцвело и зазеленело, а Вася заболел, как всегда. От обиды Вася тоже хотел показать первокласснице язык, но тут на подоконник с той стороны окна села птичка.

Это была необычная птичка, ярко-желтого цвета (обыкновенная канарейка), как одуванчик или бабочка лимонница, а сама она была размером с синичку или воробушка.

Повертев головой, птичка увидела Васю, но сделала вид, что его не заметила, и совершенно беспечно пропрыгала по железяке карниза туда-сюда.

После чего замерла напротив Васи и внимательно на него посмотрела.

Глаза у птички были как черные блестящие камушки. Такие камушки были на бабушкиной гранатовой брошке.

У Васи перехватило дыхание.

«Вот бы мне эту птичку!» – вот все, о чем теперь стучало в нем сердце.

Надо было незаметно для птички открыть левую створку, и, пока птичка воображает, цап! И схватить ее. За хвост!

Вася был мал ростом, и потому, чтобы схватить птичку, вскарабкался на батарею.

Он, конечно, предполагал, что птичка, заметив, как он открывает форточку, может испугаться и улететь. Но по-другому ее все равно было не достать.

Вася зажмурился и, стараясь проделать это как можно тише, повернул ручку.

Птичка не улетала. Чуть повернув лимонную живую головку, кося на Васю гранатовой бисеринкой, она внимательно и насмешливо следила за мальчиком.

Вася перегнулся через подоконник и протянул к птичке руку. Птичка отпрыгнула. Чтобы ее схватить, теперь не хватало расстояния вытянутой ладони. Вася встал на батарею на цыпочки и потянулся еще.

Еще.... Еще немножко, казалось ему, и цап! Но нет, птичка снова отпрыгнула, и пришлось лезть за ней дальше. На подоконник.

Встав на колени, Вася снова потянулся за птичкой, но тут она легко оттолкнулась от карниза и повисла в небе солнечным зайчиком, быстро быстро щелкая лимонными крылышками.

Вася взмахнул руками и, не задумываясь, соскользнул за ней.

«Лечу!» – подумал он и первым делом победно посмотрел на первоклассницу.

Толстая первоклассница, широко распахнув рот и забыв показать язык, закинув голову, смотрела, как летит Вася.

Вася летел вниз быстрым белым камушком, в пижаме и босиком.

Ему не было страшно, и, летя, он даже забыл про странную желтую птичку. Которая по-прежнему плясала в небе солнечным зайчиком, видная с детской площадки черным маленьким пятнышком.

Поднявшись, Вася хотел пойти, но ноги его почему-то не касались асфальта, и шаги получались странные, неуверенные, как будто он еще не умел ходить. Ему, кажется, не хватало веса, чтобы встать как следует, и он, беспомощно болтая коленками и руками, барахтаясь, поднимался к небу.

Вася казался себе похожим на гелиевый шарик, который опустить на землю или удержать можно только за ниточку, и как он прежде хотел взлететь, и это не удавалось ему из-за веса, так теперь, из-за его отсутствия, Вася не мог приземлиться. Тогда Вася изо всех сил схватился за ветку яблони, что росла под окном, и, повиснув на ней вверх тормашками громко, закричал.

«Мама!»

Ветка держала крепко, это была старая, посаженная сразу после войны Васиной мамой яблоня. Мама посадила яблоню во время школьного субботника (10 мая, ровно 30 лет назад). И их учительница сказала, чтобы все, кто сажает сегодня (то есть в тот день) деревья, загадывали на них желания. И когда деревья станут большими, загаданные желания сбудутся.

Мама загадала (но это нельзя говорить вслух, иначе, как известно, желания не сбываются).

Теперь яблоня выросла. Она стояла огромная, раскинув под небом усыпанные огромными белыми цветами крылья-лапы, а осенью давала маленькие, кислые яблоки, которые было невозможно есть. Зато их клевали птицы.

Вся в белом цвету. Она обнимала мальчика белыми крыльями, и когда он, все-таки не выдержав притяжения неба, отпустил руки, поймала его, как бельчонка, сплетением веток.

Как в гамак.

Жалостливый бес

...Галина Семеновна Добродейкина жалела всех. Она жалела, ей было жалко до слез, и, выплавав все глаза над чем-то вчера (не умея утешиться даже шоколадкой в постели), Галина Семеновна всхлипывала над чужими несчастьями до полночи и, засыпая с заложенным носом, назавтра забывала о том, о чем плакала вчера, и находила себе над чем поплакать снова.

Она умела слушать, и соседки по дому и с лавочек на бульваре вдоволь снабжали Галину Семеновну плакальными историями, какие служили ей лучшей пищей.

Узнав что-нибудь душещипательное, Галина Семеновна не оставляла признанную историю без своего жалостливого и живого участия.

Ограбят или зарежут кого-нибудь в переулке, от одной к другой уйдет муж, сын наркоман, дочка без мужа – все, все (или что-нибудь кроме и сверх того) служило пищей для жалости Галины Семеновны.

Она жалела бездомных кошечек, жалела домашних собачек, жалела соседку сверху и соседку снизу, из третьего подъезда их дома она жалела Ирину Степановну, у которой болели ноги.

Жалела знакомую кассиршу из супермаркета, златозубую продавщицу в круглосуточной палатке Тайчине, приехавшую на заработки из далекой страны Казахстан, жалела голубей, белочек в Серебряном бору, замерзающие кустики, разбитую вазу, героинь телевизионных сериалов, несчастных в любви, и нищих. Каждое воскресное утро Галина Семеновна садилась в 61-й или 19-й троллейбус и ехала к Всехсвятской заутренней, и всегда подавала на входе в храм и при выходе.

Словом, во всех чертах и поступках, до самых печенок с аппендиксом, эта прекрасная Галина Семеновна пропахла елеем, и слезы мироточили у нее из глаз при виде человеческих горестей и несчастий.

Часто можно было встретить Галину Семеновну в черной толпе на Новодевичьем кладбище, в черном платке и длинном сером пальто, похожую на ворону. Она посещала церковные отпевания. Любила посмотреть на покойников, и к знакомым из дома ходила на девять дней, и помнила за них сорочкины.

Она ловко пекла тоненькие кефирные поминальники, мешала вкусно кутю, стояла святить куличи, кропила «крещенской» углы и угощала соседей цветными яичками к Пасхе...

Правда, не сказать чтобы так-то любили ее в ответ.

У Галины Семеновны чем-то кислым паховало изо рта при словах участия и утешения. Ее облаивали собаки. От нее разбегались коты. Разлетались бульварные голуби. И после ее искреннего сострадания у несчастных утешенных до звона в ушах усиливалось ощущение их несчастья и колодезной пустоты.



И тем не менее несчастий хватало нашей Галине Семеновне и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Если ей всё же доставало несчастий, она просто-напросто смотрела по телевизору новости или передачу «Дорожный патруль»...

Однажды в 208-й квартире через кухонную перегородку от квартиры Галины Семеновны раздался страшный крик.

Там жили благополучные муж, жена, дочь, зять и внучка Машенька Бубенчиковы, к которым, как ни теснилась и ни подслушивала сквозь баночку (был такой у Галины Семеновны способ вызнаться, о чем именно можно пожалеть соседей), было прежде с жалостью не привязаться.

Старик Бубенчиков (66 лет) был профессор и доктор (каких-то наук). Он выезжал с лекциями за рубеж, к нему ходили студенты, и у него издавались научные книжки. Жена его Анна Петровна (теща, мать, бабушка) была также недоступна для жалости и только сухо кивала Галине Семеновне при случайной встрече у лифта. Ко всему, у них была хорошая «трешка», зять не пил и внучка Машенька ходила с папой в детский садик, что на углу.

И вот, именно из этой благополучной квартиры раздается не совсем человеческий, а скорее звериный крик и будит нашу Галину Семеновну к жалости.

Она бросает остывать свои только что налитые щи и, едва запахнув халат, бежит звонить соседям.

«Что такое? Что случилось?» – Она настойчиво переликает мелодичным звоном кнопки под дверью, и ей распахивает Анна Петровна, совершенно белого цвета волос, в серой ночной рубаше, похожей на саван, с безумными мертвыми совершенно глазами.

– Что тебе, гиена? – говорит Анна Петровна нашей жалостливой соседке и смотрит на нее в упор большими пустыми глазами.

– Анночка Петровна! Миленький вы мой! Что такое, что с вами? – выливает на профессоршу Галина Семеновна целую ванну кислого сострадательного участия, и та вдруг падает на колени и начинает головой биться о дверной косяк.

Галина Семеновна вспахивает рукавами, она бежит к себе за валерьяновыми каплями (кап-кап), она буквально порхает от жалости и участия...

Она изо всех слабых сил приводит больную в себя, она берет ее в свои руки, уговаривает лечь в постель, она поит профессоршу с чайной ложечки сладким чаем.

В квартире кроме профессорши никого нет, и Галине Семеновне, хоть ей ничего и не говорят, совершенно ясно, что тут произошла ужасающая семейная трагедия.

Она не решается спросить. Но она не уходит.

Она держит больную профессоршу у постели за руку...

И вот, та начинает говорить.

Она говорит, говорит, говорит...

Наконец-то! То есть: «Ужасно! Ужасно! Да как же так? Боже мой! Какая трагедия! Какой кошмар! Что же это такое?!» – страдает добрая, жалостливая, потрясенная Галина Семеновна...

Авария на Молодежном проспекте. Вот что это такое. Всех. И внучку Машеньку.

Плохой перекресток. Заснувший шофер маршрутного такси и груженная фура. Вот что это такое. Ну? Вы наконец удовлетворены, Галина Семеновна? Вам этого хватит на ужин?

Но нет, как-же-как-же! Ей этого мало. У нее много слов, какие сказать профессорше. И она скажет их. Она скажет: «Да миленькая вы моя! Все под богом ходим...», «Ах какое несчастье, какая беда! Ах-ах...».

«Но надо жить, надо как-то жить, моя милая, моя хорошая».

«Бог терпел и нам велел».

«А вы помолитесь...»

«А вы в церковь...»

«Еще глоточек чайку... Ну что же вы, мой хороший? Мой ангельчик...»

«Деточка вы моя! Нельзя же так убиваться...»

«Скушайте ложечку...»

«Поспите немножечко, а я вам вареньица сейчас принесу...»

И эта добрая женщина «на минуточку». Она «за вареньицем». И она тоже, наверное, съест капельку, за компанию.

Ведь нужно же как-то жить и поддерживать силы.

Так какое варенье, Галина Семеновна? Каким угостить Анну Петровну? Ах, она. Бедняжка! Может быть, клубничным?

Но нет, пожалуй, она сама как-то все-таки больше любит клубничное, и его мало осталось. Крыжовниковое.

Она берет «крыжовниковое» и спешит на помощь в 208-ю.

Но там больше некого угощать. Распахнутая балконная дверь. Майский ветер теплыми пальцами трогает занавеску. По карнизу гуляет ворона.

Кушайте свое варенье сами, Галина Семеновна.

И Галина Семеновна в задумчивости слизывает с пальца янтарную каплю крыжовника...

Чайник

Если бы один человек стал художником (пусть даже не самым хорошим художником на свете).

А другой стал поэтом (пусть даже не самым лучшим).

То, быть может, не было бы войны.

Жил-был Ося. Маленький мальчик. И были у этого Оси папа и мама. Дедушка и бабушка. Пес Чайник. И оловянные солдатики в жестяной коробке у бабушки под кроватью.

В детский садик Ося не ходил, потому что когда у человека есть бабушка и дедушка, то детский садик отменяется.

«Однозначно!» – сказала бабушка, которая жила с дедушкой в соседнем кирпичном доме.

«Никаких детских садиков! Приводите его к нам!» – сказал дедушка.

И на даче летом Ося тоже жил-был с бабушкой и дедушкой. И с Чайником.

А родители его однажды собрали чемоданы и уехали за границу по работе.

И писали письма.

Сперва Ося очень скучал по ним. Но потом привык (то есть отвык). К тому же у него был пес Чайник. С Чайником не пропадешь.

А потом, когда родители куда-то опять полетели, их самолет разбился окончательно, и Ося их больше никогда не видел.

А на похороны его не взяли, потому что он был еще маленький.

Поскольку родителей уже и без того давно не было, Ося не заметил никакой разницы между смертью и командировкой.

Вот если бы потерялся Чайник – тогда да. А так что уж тут, непонятно, расстраиваться? – думал Ося.

А Чайник сидел рядом и одобрительно стучал по ковру коротеньким хвостом.

«Когда-нибудь вернутся» – так думал Ося, не понимая, почему плачет бабушка. А дедушка сидит как каменный.

И стал жить-поживать дальше.

Больше всего Ося любил играть в войну. Дедушка был ветеран Великой Отечественной войны и много про эту войну рассказывал Осе.

И вот Ося, сразу как только умоется, погуляет с Чайником и позавтракает, уходил в свою маленькую комнату, которую ему выделили бабушка и дедушка в своем кирпичном доме напротив, и расставлял солдатиков напротив друг друга.

Ося был «за хороших».

«Плохие» объявляли «хорошим» войну.

(Например, за запасы конфет в бабушкином буфете или плюшевого медведя.)

Чайник сидел рядом. Улыбался и одобрительно стучал по ковру хвостом.

На границе (начерченной на ковре мылом) собирались хмурые тучи, грохотала канонада. Мчались (поднимая ветер) танки. Фашистские «Тигры».

Летели мессершмитты, свернутые из бумажных тетрадных листов с черными крестами на крыльях.

Весь ковер покрывался павшими оловянными солдатами.

Ося был генералом.

Нет! – он был самым главным «хорошим» генералом в этой войне.

Стоило врагу приблизиться к Москве (спичечному коробку, над которым на спичке развевался красный флаг, из бабушкиного лоскуточка), генерал, оглохший от взрывов и пулемет-

ных очередей, раненный в руку, контуженный в голову, весь (для натуральности) перемазанный красной акварельной краской, кричал: «В атаку! За нами Москва!»

И павшие оловянные солдатики все как один вставали с ковра и выстраивались перед спичечным коробком в новые шеренги. И шли в бой.

И снова ковер покрывался трупами оловянных солдатиков.

И снова кричал раненый генерал «В атаку!».

И снова начинался бой.

Отважный генерал (Ося) не жалел ни себя, ни своих солдатиков. У него была, под кроватью, запасная картонная коробка с солдатиками. Это были уже не оловянные, а пластмассовые плоские солдатики, зато на конях и со шпагами.

Они тоже были «за нас». Только у некоторых из них не хватало подставок. Руки, шпаги, пашки, головы или ноги.

Но враг не знал о запасных солдатиках.

И вот, когда враг, предчувствуя победу, жег костры под кремлевскими башнями, а весь ковер за спиной врага был засыпан павшими оловянными солдатиками, запасные солдатики (красная конница) выпрыгивали из запасной коробки и бросались прямо с кремлевских стен на ненавистного врага, с криком «Урааааа!». А с тыла вставали павшие.

Стоя на спичечном коробке, генерал размахивал над ковром (полем боя) алым флагом.

Вокруг него свистели пули.

Пойманный в ловушку, враг сдавался.

Наступал день победы.

С почестями хоронили павших. Для этого у Оси был бабушкин цветочный горшок, с землей, но без цветка. Для рассады.

Туда, разрыв чайной ложкой землю, Ося высыпал погибших оловянных солдатиков.

Делал над ними холмик.

И ставил спичечный коробок.

Палили в воздух в честь павших пистоны. В комнате повисал желтый дым. Пахло серой. Чайник чихал.

Солдатики не успевали заржаветь в цветочном горшке.

Завтра им предстоял новый бой. Ося раскапывал их и нес в ванную. Отмывал от земли, вытирал вафельным полотенцем и укладывал в жестяную коробочку.

На даче Ося переключался на муравьев.

На корабликах-досках, с длинными вбитыми в дерево гвоздями, на бумажных парусах, раздуваемых ветром, десятки изловленных главным адмиралом муравьев отправлялись на Восток. Туда, откуда шли непрерывным потоком вражеские баржи, груженные боеприпасами (песком и гравием), и мчались вражеские ракеты.

Кораблики с солдатами главного адмирала переворачивались, и солдатики – муравьи – тонули в волнах.

Но новые деревяшки с парусами и солдатиками пускались в путь на Восток.

Муравьи – не то что оловянные солдатики, – погибли одни, в траве и муравейниках таких солдат сколько хочешь... – так рассуждал наш отважный генерал-адмирал, генералиссимус Ося.

Предателей муравьев (тех, что старались сбежать с военного корабля или кусались) Ося казнил на месте. Давил пальцем – чтобы другим было неповадно.

Дедушка вечерами рассказывал про войну.

Бабушка пекла осенью в печке антоновку с сахаром.

Ося переключился на кротов и мышей. Это были враги участка. Они разрывали грядки. Из-за них засохла облепиха.

Ося вступил в войну. Он помогал бабушке. Но бабушке почему-то не нравилась эта затея. Но бабушка просто была слишком добрая. Участок же, несомненно, нуждался в защите. Ося выливал в кротиные норы кипяток.

Высыпал по углам мышиный яд. Собирал в баночку с крыжовника гусениц, а с щавеля колорадских жуков.

Бросал в баночку газету. И поджигал.

Баночки ставил вдоль забора. Как напоминание о том, что кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет.

Чайник весело гонялся за бабочками и лягушками.

Ося любил лето. И лето любил Чайник.

Все любят лето. Даже колорадские жуки, мыши, бабочки, гусеницы и кроты...

С кротов и мышей со временем Ося, наверное, переключился бы на людей. Дедушка с бабушкой собирались отдать Осю этой осенью не в обыкновенную школу, а в Кадетский корпус, недалеко от дома...

«Из него выйдет настоящий генерал!» – с гордостью говорил дедушка.

У которого после войны, как у Осиного пластмассового солдатики, тоже не было ноги.

А бабушка качала головой и иногда смотрела на внука как-то странно. Почти с ужасом.

А Чайник заболел. И больше не гонялся за бабочками и не раскапывал кротовых нор.

Чайник был такса.

Он лежал, положив длинную морду на короткие лапы. И у него из глаз текли слезы.

А хвост приветливо шевелился только при виде Оси.

«Наверное, съел какую-нибудь больную крысу», – сказал дедушка, и Чайника положили в большую корзину и повезли в город в ветеринарную клинику.

Это было целое приключение. «Чайник! Тебя обязательно вылечат!» – обещал псу Ося, когда автобус уже въезжал в город.

Но Чайник посмотрел на Осю.

Вздыхнул и умер.

«Он умер, Ося», – сказал дедушка, заглянув в корзину. А бабушка заплакала.

Они поехали обратно, так и не добравшись до ветеринарной больницы.

Чайника нельзя было оживить.

Дедушка пошел с Осей на задний двор, где сарай, взял в сарае лопату, и под старой сливой они с Осей выкопали яму и, положив Чайника, завернутого бабушкой в плед, в корзине на дно этой ямы, засыпали землей.

Бабушка посадила над Чайником анютины глазки.

Ося не очень испугался. Он привык закапывать мертвых оловянных солдатиков в цветочный горшок, а потом откапывать их, и они получались как новенькие.

Вот и с Чайником он решил поступить точно так же.

Когда бабушка и дедушка в пятницу собрались и уехали (как каждую неделю уезжали) в город, полить цветы и за пенсией, Ося пошел на задний двор, снял с гвоздя в сарае лопату и откопал Чайника.

Что увидел Ося, вы, наверное, можете себе представить. Со смерти друга прошло четыре дня, было очень жарко.

В лесу, за забором, там, где тропинка, виляя между берез и высоких таволг уводила к реке, оглушительно стрекотали кузнечики.

Чертили водяные дорожки у песчаной отмели водомерки.

В камышах плескались мальки.

Плыли вражеские баржи, груженные боеприпасами...

Светило высокое солнце.

Белые черви, личинки мух и самый страшный запах на свете. Медовый, колокольчиковый запах тления. Собачий оскал. И пустые глазницы.

Вот что такое на самом деле смерть.

Вот что увидел Ося в яме под старой сливой на заднем дворе за сараем.

На нос друга села тяжелая навозная муха с изумрудными крыльями.

Ося с женой Леной и дочкой Саней все еще живет в квартире бабушки с дедушкой.

В квартире родителей у него мастерская.

Он художник. На картинах только лето и зима, осень и весна, цветы и солнце...

До завтра

*Двадцать второго июня, ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили, что началась война...*

...Однажды, прекрасным весенним утром (22 апреля), два жирных черта, два проклятых небом и землей, ветром и водой, солнцем и луной бездельника...

Два негодяя поговорили друг с другом по телефону (или, может быть, по скайпу, или что у них там?) и решили, от нечего делать, объявить друг другу войну.

Что-то они там друг с дружкой не поделили.

Скажем, какой-нибудь котел.

Один, наверное, говорит: «Это мой котел», а второй говорит, что кто первый в котел плюнул, того и котел. И нечего тут обсуждать.

Второй тогда, конечно, говорит: «Как это нечего, мой рогатый дружок? Я тоже плевал в этот котел, и не раз. И еще, мол, неизвестно, кто из нас больше в него плевал, но дело даже не в этом...»

Тот, что первый, разумеется, интересуется: «А в чем же тогда, любопытно узнать, мой хвостатый друг?»

А друг отвечает, что котел стоит на его территории и в нем все будет вариться так, как он сказал. И на этом решено, и точка.

А второй говорит: «Извините!»

Он говорит: «Минуточку! И подвиньтесь! Точку в вопросе „Котла“ будет ставить победитель. И, мол, именно на этом точка в этом неприятном разговоре. И даже никакая не точка, а скорей вопросительный знак».

И ставит вместо «вопросительного» – «восклицательный».

В ответ, конечно, с противоположного конца провода тоже ставится восклицательный знак.

«Позвольте! – говорит первый черт. – Котел прежде стоял на моей территории, и это исторический факт! А то, что какая-то сволочь, под покровом ночи, втихоря передвинула котел за нашу границу и развесила колючую проволоку, так на эту проволоку у него найдутся и рога и копыта, и пушечное мясо, и атомные боеголовки».

Так что, мол, не очень там раскатывай губу. А то получишь по рогам так, что язык на хвост наматается. И хоть ты мне и старинный друг и мы с тобой вместе, на прежних войнах съели не один пуд (сами понимаете кого), но! В общем, – говорит, – мало тебе не покажется.

И ставит восклицательный знак.

Однако в ответ из трубки тоже несется восклицательный знак.

(У нас, мол, на ваши ржавые боеголовки найдутся свои нехреновые «Першинги»...)

Первый говорит: «А у нас на ваши нехреновые „Першинги“, вообще есть, между прочим, „Красная кнопка“».

А тот говорит: «Аха-ха! Да у кого ее нет...»

Первый тогда: «Ах, ты так, рогатый?»

Второй тогда: «Ах, ты эдак, хвостатый?!»

И так далее. Пока окончательно не рассобачились.

В пух и прах...

Побросали трубки.

Один кричит: «Позвать сюда всех моих генералов!» (Свистать всех наверх!) «Где мой чемоданчик?!»

(Где мой черный пистолет?!)

И второй, у себя там, тоже топчет копытцами. Сыплет шерсть клочьями и визжит то же самое...

И объявили, эти две гадины, по обе стороны от котла общую мобилизацию...

И пошли мальчики на войну, за котел. У которого вообще-то тоже была своя территория. И территория у котла была та, на которой он стоял. Куда бы его ни ставили и ни передвигали.

И там (в котле) тоже были у мам любимые мальчики. У мальчиков синеглазые девочки. Было все. И лютики и незабудки. И весна и лето. И зима и осень...

Но завтра была война.

А война...

Что она такое, война?

Война.

...Искаженные лица. Страх. Тишина без ответа. (Так всегда молчит небо, когда черти играют в войну.)

Исцелованные иконки.

И мальчик с третьим глазом во лбу.

Лишним глазом. Никому на свете не нужным.

«Мама, посмотри, у меня третий глаз...»

Или просто «мама...».

И тот, живой еще мальчик думает: «Слава Богу, это не меня...»

И очень страшно. И очень хочется жить.

Но мало ли что кому-то там хочется. Главное же, война идет за правое дело. И дело это правое со всех сторон.

Черти сидят по домам и потирают над сводками лапки. Булькает котел...

А когда люди спрашивают: «За что?»

Им отвечают: «За родину...», «За правду», «За нами Москва!», «За нами Баден-Баден...».

А на самом деле это просто новая война за старый котел. Просто двум чертям там, внизу, стало скучно на своих сковородках. Они стареют. Жиреют. Над златом чахнут.

И играют в крестики-нолики.

Вычеркивая лапчонкой диагонали и вертикали.

Такова предыстория нашей истории, но наша (она будет очень короткая) история не о войне.

Наша история о любви.

Еще одна самая обыкновенная история.

Против войны, как против любой смерти, есть средство.

Оно не всегда помогает, да...

Войну нельзя, как плохую книгу, перелистнуть на слово «конец».

В ней приходится жить. И ждать. И пережить ее.

Верить.

Любить.

Надеяться.

Молиться.

И ждать.

Жили-были мальчик и девочка. С балконами на 833-ю школу. Сидели за одной партой.

Зимой катались в Серебряном бору на санках. Летом (иногда) мальчик приезжал на пару дней к этой девочке на дачу. Один раз даже жил целый месяц. И мамы у них дружили. А папы их играли весной на балконах в шахматы.

А мальчик и девочка ходили в кино на Октябрьском поле.

Они не думали о любви. Они просто дружили. И даже если и задумывались (иногда) о чем-то таком, то им некуда было торопиться. Ведь впереди у них была целая жизнь.

Была целая жизнь. Да.

Но завтра была война.

И хотя мальчик сказал девочке на лестничной площадке: «До завтра, Катя», но ему было 18 лет.

А черти решили поиграть в свои крестики-нолики.

Шахматы...

Или что там у них.

И много было в тот, четырнадцатый проклятый год на электрических проводах ворон.

И за восемнадцать лет до того, в девяносто (таком-то), слишком (как показалось чертям), слишком много рождались мальчики.

А это плохая примета. Так говорят старушки.

И всем приходилось, волей-неволей, прощаться друг с другом.

И этому мальчику и этой девочке тоже.

У автобуса она сказала ему: «До завтра, Алеша».

А он улыбнулся (хотя ему было очень страшно) и ответил: «До завтра, Катя».

И они не могли даже поцеловать друг друга. Это вышло бы стыдно, на глазах у родителей.

На глазах у родителей, а родителям тоже некуда было девать глаза.

Некуда девать людям глаза и слезы, когда они расстаются перед войной.

Черти имеют отвратительную привычку отбирать у людей самое важное – «завтра».

У мальчика и девочки не было с собой, что подарить друг другу на память.

Но ведь память нельзя... подарить.

И она достала из своего пакета пустую общую тетрадку (48 листов). И написала на первой странице «До завтра».

И отдала ему.

А он наклонился и поднял из лужи десять копеек.

И всю войну эти десять копеек, повешенные на ниточке, касались оловянного бабушкиного крестика у нее на груди.

48 лет шла война.

48 листов тетради с надписью «До завтра» были исписаны красными чернилами. Других чернил не бывает на войне.

Не приходили письма. Приходили только повестки и извещения. Молчали телефонные линии.

Шла война.

Война до победного конца. До победного конца с каждой стороны от котла.

Когда крестики с ноликами вычеркнуты одинаково. А поля выкошены подчистую.

Были люди. Были сирены. Собаки. Вороны кружили над крышами. Над черными огнями.

Били колокола.

Отцы хранили молчание.

Матери хранили надежду.

Хоронили молодых и старух.

Царапали землю мертвые пальцы.

Плевали в снег.

Плевали кровью.
Плевали, не дождавшись, в вечный огонь.
Плевали в звезды.
Завтра не наступало.
Все тянулся и тянулся один-единственный день.

Но на сорок восьмой странице, только мальчик подумал, что ему больше негде писать о войне... Война кончилась.

И он вернулся.
Поднялся по лестнице на четвертый этаж, где балконы выходят на 833-ю школу. И позвонил. Открыла Катя.
Алеша положил исписанную тетрадку на подзеркальник.
В обложке была дырка от пули.
Пуля застряла в страницах (все-таки 48 листов надежды).

А черти уже снова поднимали трубки, чтобы позвонить друг другу.

Маша

Скребя просадкой известковую пыль, открылись ржавые ворота...

И на стройку въехал, тяжело ворча и отплевываясь выхлопами, здоровенный грузовик с белыми рулонами вилатерма.

Вилатерм – теплоизолятор вспененного полиэтилена.

Терзая окурки «Казбека», к водиле, неторопливо болтая карманами комбинезона, подошел прораб.

Из кабины высунулась улыбающаяся соломенная башка уже знакомого нам молодого человека в поношенном дутике.

Но уже май. Молодой человек в вареной джинсовой куртяшке и майке с эмблемой «РУС-СТРОЙ-АВТОСЕРВИС» Устроился по случайному случаю. Ну и вообще, кому когда мешали лишние тугрики?

– Куда? – спросил молодой человек.

– А черт его знает. Давай пока туда. – Прораб махнул в сторону забора.

– Там не проеду.

– Тогда туда, – равнодушно согласился прораб, выплевывая под колеса изжеванный «Казбек».

Молодой человек вдавил газ. Подал назад.

Вышел из кабины и стал терпеливо ждать выгрузки.

Он никуда не торопился.

(Одно удовольствие постоять просто так, пока другие работают.)

Одна девочка Маша пошла погулять с Ленкой на детскую площадку за гаражи.

Она сказала: «Мама, я пойду, погуляю за гаражи!»

«Ладно, только не ходите на стройку!» – ответила мама и, вытерев руки о фартук, пошла посмотреть в окошко, как ее Маша пойдет.

«И через час возвращайся!» – крикнула в окошко мама.

«Обедать!» – крикнула мама.

Девочка помахала рукой, и они с Ленкой из шестого подъезда повернули за угол кирпичного дома, где маме их уже было не видно. И конечно, побежали на стройку.

Строили большой дом вдоль улицы Народного ополчения, напротив «медоборудования», в котором сначала был огромный универмаг «Весна», а сегодня там уже четыре больших магазина и «Летуаль».

Но тогда его только строили, и девочки туда пошли.

Стройка была огорожена бетонным высоким забором. В заборе дырка. В дырке прутья арматуры, в расстояние меж которых могла проскользнуть только кошка. И еще две тощие девочки из второго класса 833-й школы.

Проскользнув между прутьями, девочки побежали искать вдоль карьера тянучку. Тянучка – это такая серая штука из ржавого бака, которая тянется лучше, чем пластилин. Отличная штука!

И вот она им была нужна.

Двух маленьких девочек было почти не видно с высоты подъемного крана. Рычали экскаваторы.

Били отбойные молотки.

До места, где стоял ржавый бак, оставалось пройти по кромке бетонного забора над густой серой лужей извести.

Прошли. Еще бы не прошли. Худенькие, ловкие и цеплющие, как две обезьянки. Вскарбакались, помогая друг дружке, на стопку керамоплит. Встали кедами на резиночки.

Заглянули в бак. Но в баке тянучки не было. Даже на дне. Вернее, она, тянучка, прилипла к стенкам и застыла. Ее можно было отколупливать пальцами. Но никак не тянуть. Такая тянучка не годилась.

«Знаю!» – сказала Ленка.

«Пошли!» – сказала она и потащила Машку туда, куда она знала.

По каркасу бетонной лестницы на шестой этаж.

«Там тянучка будет точно!» – сказала Ленка. «Куда ей деваться?» – сказала она.

Дома еще тогда (как мы уже говорили) не было. Были балки, стойки, бетонные поэтажные перегородки, столбы и арматурные стержни. Пролетные панели, заполненные бетонной смесью. Были плоские железобетонные плиты, с отверстиями для колонн.

И голые колодцы лифтовых шахт.

По арматурной сетке две ловкие шустрые обезьянки быстро карабкались на шестой.

Будущие лестничные площадки. Полы-потолки.

Была весна.

Яркий солнечный май. В ушах свистел ветер. Из бетонных рам на девочек смотрело небо.

«Ухты! Зыко!» – сказала Ленка, первая вскарабкавшись «куда надо».

«Ну, что я тебе говорила? Вон тянучка!» – сказала Ленка и торжествующе посмотрела на Машку сверху вниз.

Но Машка мартышкой качалась на отошедшем от перегородки пруте арматуры. Потом ее пальчики расцепились.

Она улыбнулась Ленке и ухнула вниз.

С тяжестью камушка. С легкостью пёрышка.

Ветер завертел и перевернул Машку в воздухе. Дунул, слегка отодвигая от перегородок.

Ленка закричала.

Машка летела молча.

И упала в огромный контейнер грузовика с вилатермом.

В мягкие рулоны не самого плохого, в сущности, утеплителя.

Теперь она работает архитектором, замужем и сыну 15.

Он хочет поступать в Первый мед. На факультет биологической химии.

Он когда-нибудь придумает лекарство от рака.

Придумает.

Обязательно. Пусть даже не он. А его друг Антон. Или они вместе.

Это неважно.

Гроб

Сами знаете, как у нас работают почтовые отделения: «Вчера пришло письмо, из Тольятти, что Вася родился, а он, говорят, уж помер».

Бывает, специально отпросишься с работы часика на два пораньше, чтобы получить по извещению посылку, и стоишь там насмерть, с таким лицом, как будто государственную границу защищаешь, хотя тебя заранее из окошка предупредили, что они в восемь закрываются.

«Мы, говорят, уже через два часа закрываемся! Не вставайте!» – и все тут. Хочешь, стой, хочешь, поворачивай, а хочешь, молись, чтобы впереди тебя все только за конвертами стояли.

Главное же, чтобы, на твою беду, не принесли черти какую-нибудь с удостоверением (как будто тут все не инвалиды) или мамашу с коляской (как будто тут все стоят «просто так» без детей и колясок)... Позагорать пришли.

«Господи, помоги мне! Пусть, хотя бы вон та, толстая, стоит за конвертом! И тот, длинный с затылком, тоже. Прошу тебя, Господи, помоги!...»

«Помоги мне, а? Не этому! Не этой! А главное, Господи, не тому, вон там: посмотри на него, Господи, какой стоит!.. Ну и рожа, напрасно ты ее создал, прости ты меня, Господи! Это же даже не дельфин, а целый дельфинарий, с дипломатом... Пингвин! У него же такая трухомордия, что если ты ему поможешь, а не мне, то я даже не знаю...»

И каждый из очереди с верой и надеждой взывает к небесам, стараясь обратить на себя их благосклонное внимание. А гнев их обернуть против прочего человечества.

Пока из подсобного помещения не выйдет уборщица с ведром и веником и не прижмет тряпкой очередь к прилавку с открытками.

Думается, что если есть очередь в ад – да и почему бы ей не быть, ведь любая система подразумевает очередь, если попасть к окошку много желающих – то это очередь такая же, как в наше почтовое отделение...

* * *

На самом краю деревни Петелкино Тамбовской губернии, у подножия мусорной свалки, стоял вагон.

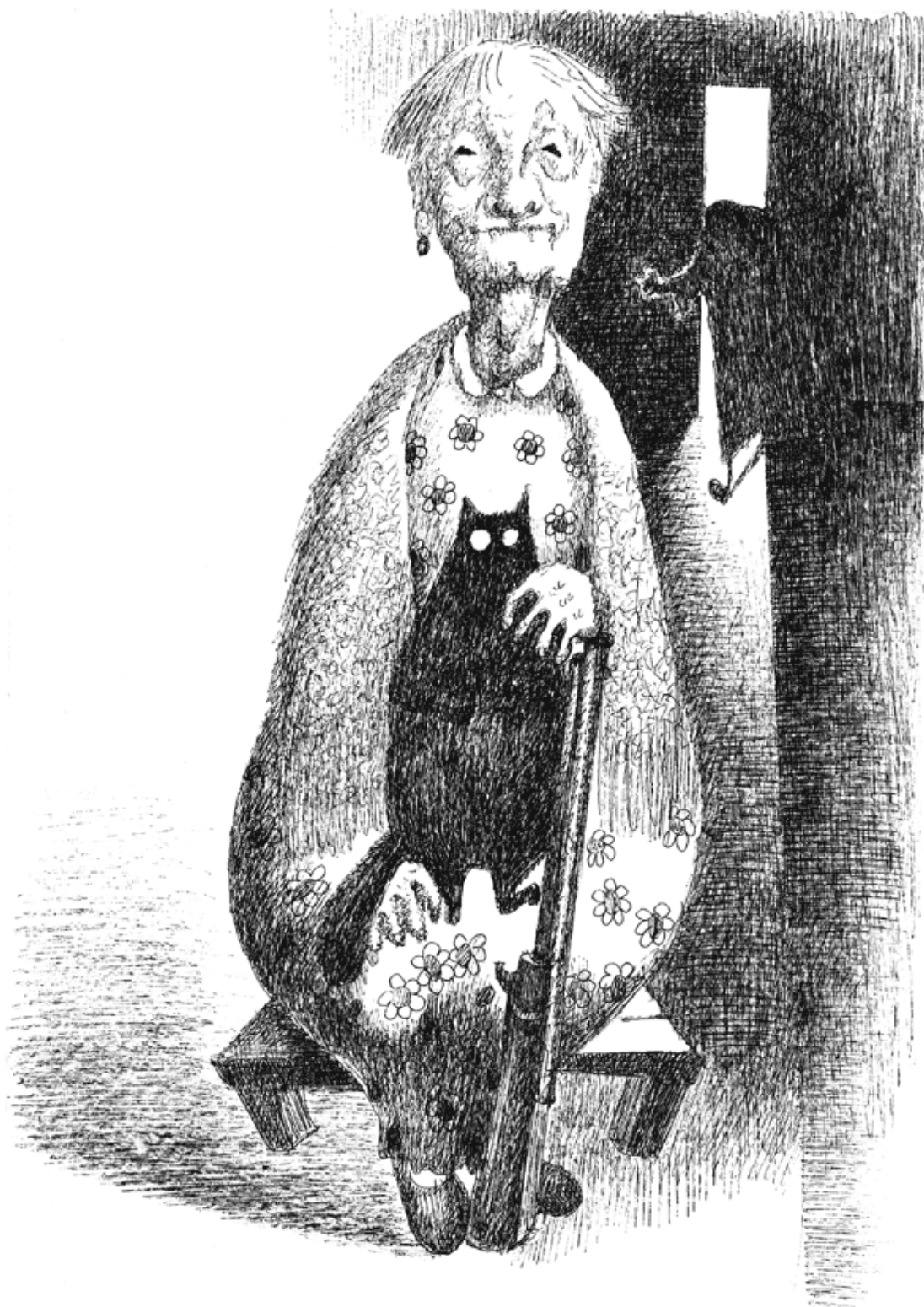
В вагоне жила Тамара Петровна Собакина, бывшая доярка бывшего молокозавода «Русь».

Тамара Петровна жила хорошо. Она не унывала. Она собирала летом грибы и ягоды на опушке железнодорожных путей, продавала на станции, а взамен покупала сахар и соль, варить и солить на зиму. Еще у нее за свалкой было картофельное поле и даже парник.

Когда-то был у Тамары Петровны даже хороший сруб (карельской березы), яблоневый сад и участок десяти соток, банька, коза и корова.

Был когда-то у Тамары Петровны и сын Сема.

Хорошо кушал. И учился тоже хорошо. На одни пятерки. Здоровый был мальчик (тьфу-тьфу-тьфу на него). Радость матери.



Но после армии Сема остался в городе, женился, а потом еще раз женился и стал в этом городе большим человеком.

Однажды Сема приехал навестить Тамару Петровну, с приятелем. Приятель был как-то не очень (он Тамаре Петровне не понравился): лысый, толстый, прожорливый, просто кабан

(прости, Господи!), а не приятель, а бедный Семочка был только после развода, худенький такой мальчик, ребенок, что сердце матери разрывалось.

Говорил Сема, что платит теперь жене (она, конечно, оказалась порядочная стерва) алименты и жить ему совершенно не на что, а надо еще выплатить за квартиру и машину кредиты.

Сема кушал в тот раз тоже хорошо, а потом попросил Тамару Петровну продать дом с участком, иначе ему, мол, никак, иначе в следующий раз, говорит, мать увидит у этого порога его голодный труп.

Она подписала бумаги, и сын с этими бумагами и приятелем уехали обратно в город, дав Тамаре Петровне на сборы три дня времени.

А потом приехал один только лысый Семочкин приятель и вежливо проводил Тамару Петровну за калитку.

Так что она теперь жила в вагоне, у подножия мусорной свалки, и не унывала. А денег хватало даже на то, чтобы раз в год собрать сыну в город посылку.

Правда, самого сына Тамара Петровна с тех пор больше не видала, ни живого, ни мертвого.

Но главное все-таки было, что сын жив и она спасла его от голодной смерти.

И она продолжала спасать своего Сему, пока сама однажды зимой не замерзла в своем вагоне от холода.

Нашли ее только весной. Нашли записанный на бумажке адрес сына, по которому она посылала свои посылки.

Дали телеграмму на этот адрес.

Сын не приехал.

И Тамару Петровну записали в специальном журнале под номером 60996 как неопознанную БМЖ (хотя у Тамары Петровны был и вагон и сын, но кому охота возиться?) и похоронили за государственный счет, при помощи трактора. Правда, на холмик установили табличку все с тем же порядковым номером.

А что?

Разве мертвым не все равно, где лежать?

* * *

Цвела сирень. В песчаных отмелях Мякининской поймы плескались мальки. Живописные ландшафты и экологическое благополучие гармонично соседствовали под башнями жилого комплекса «Альбатрос» с развитой инфраструктурой района. Асфальтовой радугой вздымался над ржавым водоканалом Строгинский мост. Над безмятежной лазурью Кировского затона плыли ватные облачка.

Семен Петрович Собакин (невысокий мужчина, похожий на толстого дождевого червя), вдовец со скромным капиталом в швейцарском банке и соучредитель благотворительного фонда «Счастливая старость», насвистывая что-то противное, заложив руки за спину, неторопливо шел по зеркальному холлу ЖК «Альбатрос», вдоль рядов почтовых сейфовых ящиков.

Наконец Семен Петрович оборвал свой противный свист и, вставив электронную vip-карту в идентификатор со своим номером, извлек из прохладной сейфовой пасти самое обыкновенное почтовое извещение.

Правая бровь вдовца поползла вверх. Левая бровь осталась лежать неподвижно.

Семен Петрович зевнул, поморщился над бумажкой, несколько минут постоял, размышляя, но все же аккуратно сложил извещение пополам и, опустив его за пазуху, направился к тамбурам центрального выхода.

Семен Петрович прекрасно знал, кто ему посылает и что, и все это ему было тридцать три раза не надо, однако оставить посылку так было против его жизненных принципов.

Погода пела.

Вытянув губы гузкой и насвистывая в такт воробьям, Семен Петрович неспешно прошелся по Неманскому и, подойдя к 9-му почтовому отделению, толкнув тяжелые двери, вступил в помещение.

В отделении было прохладно и сумрачно. Дребезжала лампа. Пахло потом, канцелярским клеем, бумагой и почему-то детством.

Детство Семена Петровича давно миновало. Можно даже сказать, у Семена Петровича вовсе не было детства; Семен Петрович был человек, явившийся на свет не младенцем, но готовым учредителем благотворительного фонда «Счастливая старость» со скромными сче- тами в швейцарских банках.

Извещенный поморщился.

В почтовом отделении работало сразу два окошка. К ним стояли две очереди. Однако одна оказалась на подачу, а другая на выдачу.

Так, сперва было нужно отстоять в первой, чтобы потом можно было отстоять во второй.

Извещенный встал в хвост. Ему было неприятно. Он не любил стоять, когда его вынуждали к этому обстоятельства. Семен Петрович с радостью постоял бы просто так, но стоять за кем-то, вот этого он не любил. Ему хотелось плюнуть в затылок впереди стоящего. Или выстрелить (в зависимости от обстоятельств).

Однако делать было нечего, и Семен Петрович встал.

«Через час закрываемся! Скажите там, чтобы не вставали!» – по обыкновению донеслось из окошечка, и тут же старушонка, стоявшая впереди Семена Петровича, обернула на него жабье лицо и злорадно проквакала: «Не вставайте, товарищ, у них через час обеденный перерыв...»

(Ква-ква-ква...)

«Чтоб ты провалилась, нечистая сила!» – подумал Семен Петрович, и ему уже захотелось именно стрелнуть, а не плюнуть.

«Я б тебя, ведьму, при других обстоятельствах!...» – подумал меценат, но он знал и сам, что сейчас обстоятельства были против него, а потому просто посмотрел на бабульку.

Этого, впрочем, оказалось достаточно (глаза у учредителя были маленькие, но свинцовые, как две канцелярские кнопки). Лицо бабуленции вытянулось. Она обиженно шлепнула губами и отвернулась.

«Тьфу, кикимора!» – подумал благотворитель.

Очередь не двигалась. Стрелки почтовых часов (как все стрелки часов почтовых отделений) стояли.

Стрелки часов на запястье Семена Петровича неумолимо приближали почтовое отделение к обеденному перерыву.

«Не успею, черт бы их всех драл!» – подумал Семен Петрович, с ненавистью буравя кнопками глаз спины впереди стоявших, и вдруг из окошка высунулась почтовая голова и визгливо осведомилась: «Товарищи, есть кто-нибудь с „Извещением за номером 60996“?»

Очередь растерянно переглянулась, достала свои извещения и очки...

Но ни у кого в этой очереди не оказалось извещения за номером 60996, кроме Семена Петровича Собакина.

Лицо единственного из всей очереди извещенного с названным номером довольно замаслилось. По лбу Собакина пошли розовые волны, и он, выступив из хвоста, отчетливо произнес: «Я!»

«Товарищи, пропустите товарища с номером!» – визгливо прокричала в ответ почтовая голова, и очередь, та самая очередь, которая только что безнадежно отделяла Семена Петровича от посылки, с завистью и благоговением расступилась пред ним.

«У товарища 60996 извещение....» – с уважением (и даже, кажется, с ужасом) шептала очередь, провожая Семена Петровича взглядами, и та самая бабуленция, что прежде стояла впереди, быстро перекрестилась Собакину в спину.

Ничто не удивило Семена Петровича ни в этом благоговении, ни в этом почтении, оказываемом ему.

Меценат привык к уважению. И заслуживал его вполне.

Голова в окошке протянула за извещением маникюрную гладкую лапку и, отвернувшись, прокричала в глубину служебного помещения: «Людочка! Тут с 60996 извещением!»

«Товарищ с номером, подойдите ко второму почтовому окошку!» – откликнулась Людочка.

Семен Петрович проплыл обратно, вдоль первой и второй очереди, и даже тут не пришло ему в голову хоть чему-нибудь удивиться.

Семен Петрович даже не вспомнил, что от него не потребовали для проверки паспорт, словно так оно и надо было, и все прочие-остальные люди должны его знать в лицо.

Он нетерпеливо навис над вторым окошечком, и вторая голова почтовой служащей улыбнулась ему маслено и приветливо.

«Пару минуточек обождите, Семен Петрович!» – сказала она и, на миг скрывшись в сумерках, уже буквально через мгновение появилась опять.

«Не затруднитесь пройти, пожалуйста, к служебным дверям, Семен Петрович!» – явно смущаясь, пропищала голова, и в ответ Семен Петрович в недоумении приподнял складки на лбу.

«У вас очень крупная посылка, я выдам из двери», – пояснила просьбу служащая, и Семен Петрович расплылся в ответной понимающей улыбке.

Дверь служебного почтового отделения распахнулась.

Навстречу получателю из распахнутых створок выехало нечто и в самом деле огромное, обернутое крафтом, уставленное печатями и залепленное изоляционной лентой.

«Желаете удостовериться в сохранности?» – пискнула голова, показываясь из-за края посылки.

Семен Петрович желал.

Голова засуетилась. Защелкала ножницами, и вскоре упаковочная бумага и скотч свернулись по бортам посылки в рулоны.

Перед меценатом и благотворителем со скромными счетами в швейцарских банках стоял очень дорогой, элитный VIP-груз 2000.

Шестигранный, полированного массива «Виктория Премиум».

Подчеркивающий высокий статус своего получателя.

Хотя...

Разве мертвым не все равно, где лежать?

Жди меня

Однажды, в 73-м году, на выходе из станции метро Полежаевская «вторая» познакомились случайно два человека.

И раз уж им так повезло, то они решили никогда больше не расставаться. А то вдруг еще что...

Потеряются?

Они подали заявление. И хотя детей у них не было, но все равно расставаться они не стали.

А то вдруг еще что...

Потеряются?

И не потерялись. А жили долго и счастливо. И так привыкли друг к другу, что потерять уже, кажется, не могли...

Но все равно они чуть не потерялись. Почти. А дело было так...

Один человек больше не захотел жить-поживать на белом свете.

Как-то так все у него соединилось и совпало, и по работе, и так, что ему стало не в состоянии.

У него к тому же вчера в 67-й больнице умерла жена, и нужно было ехать договариваться обо всех этих делах и везти жене одежду, в которой она попросила ее похоронить (то платице).

И он искал его, где она ему вчера сказала. Перебирал по вешалкам воспоминания.

Нет ничего на свете прочнее запахов.

Мандариновых корок.

Нафталина.

Старой губной помады.

И женских духов.

Но там, где она сказала, платья не было. Хотя он нашел одно похожее. Вот только то это платье или не то, он не был уверен. А спросить теперь уже было некого.

А день был светлый.

Ясный, как чистая простынь.

Его жена, пока ее не увезли в 67-ю, все ждала такого дня. У нее под балконом (они жили на первом этаже, 40 лет с маленьким хвостиком) была своя грядка. И вот, только сошел снег, она выходила «копаться», и копалась иногда до самого вечера.

И у нее получалось очень красиво. Как в журналах.

А прошлой осенью она (жена) купила какой-то корень, то ли незабудки, то ли фиалки, но очень красивой и дорогой. У бабульки, в подземном переходе. И та уверила ее, что сажать нужно на зиму, укутать место тряпочками, накрыть баночкой и, как только сойдет снег, все это снять. И ждать когда появится этот необыкновенный синий цветок.

Какой-то небывалой породы.

И вот жена по этому поводу очень переживала. И даже за две минуты, как умереть, она говорила: «Саша, главное, не забудь снять с корешка баночку...»

Как, когда уезжала на дачу к подруге на все выходные, а он оставался в городе, она говорила: «Не забудь подогреть, не ешь холодным. Желудок испортишь», «не забудь купить хлеба», «не забудь»...

То то, то это...

«Не забудь, Саша, снять с корешка баночку» – так она и сказала. И когда он ответил, чтобы она об этом не беспокоилась, что он обязательно не забудет, она вздохнула от облегчения.

И ее ладошка, в его руке, стала как деревянная.

А теперь он искал по шкафам нужное платье, и не у кого было спросить, то это платье или не то.

И так прошло утро, и нужно было все-таки ехать, везти, какое нашел. По дороге у овощной палатки он подумал, не купить ли еще мандаринов, но потом вспомнил, что вчера привез мандаринов полкило, и жена сказала: «Саня, ну куда мне столько?.. Возьми хоть три штучки себе».

Но он не взял, забыл за всей этой суматохой. И мандарины, наверное, забрала медсестричка. Шустрая девочка с холодными глазками.

Так он постоял, раздумывая, у палатки. Потом вспомнил, что мандарины уже есть. И больше мандаринов не надо, и пошел дальше.

А день был белый. Такой белый, как скатерть. И сходил снег.

Он сделал все, что нужно.

А потом зачем-то поплелся к жене в палату, на всякий случай – просто посмотреть, ну а вдруг? Чего не бывает на свете? Но там лежала чужая женщина, с толстым лицом, в сером халате. И ела мандарины жены. В палате стоял ослепительный оранжевый запах.

И медсестричка сидела за столиком, и на историях болезни лежали уже чуть подсохшие мандариновые корки.

Домой он вернулся под вечер. Заблудился в переулках Спортивной. В метро не хотелось.

У чебуречной, на углу улицы Ленина 21, вдруг дунул с перекрестка холодный ветер и жена как будто сказала: «Ну, что же ты, Саня, простудишься. Запахнись!» И он запахнулся, хотя было не холодно.

И даже выпил рюмочку в этой чебуречной. И надкусил чебурек. Которым еще долго потом пахли пальцы.

Запахи – вот что остается надолго.

А может быть, навсегда.

И так он проходил целый день и вернулся под вечер.

Во дворе было тихо. Пахло прелыми листьями и землей. Стаявшим снегом. На качелях качалась ворона.

Женщина, очень похожая на его Таню, только молодая, дремала на скамейке с коляской.

Висели на веревках покрывала. Расхаживали по воздуху чьи-то тренировочные штаны.

Он подошел к ее оградке. Заранее, еще зимой, она купила в «Леруа» белую эмаль. Каждую весну красила свой забор в зеленый, как у всех, а тут передумала. Пусть, говорит, на будущий год будет у меня белая оградка.

Вот тебе и белая оградка. Синенький цветочек. Незабудки-лютики. Лютые цветочки.

Ничего, Таня, не будет теперь. Ничего.

Так бы ты закричала в окошко: «Саш, иди домой, ужинать!» – а так некому теперь позвать, некому крикнуть.

Он открыл дверь сам, как делал это с того дня, как жену забрали в 67-ю. Бросил ключи на подзеркальник.

Прошел по вешалкам и платьям (не успел утром убрать, когда искал платье), а убирать теперь за него было некому.

Наклонился, поднял ремень. У распахнутой двери кладовки (тут-то он что искал?) взгляд задержался на банке белой эмали. Но не остановился.

Он прошел на кухню. Поставил чайник.

Встал на табуретку, скрутил люстру. Затянул на крючке ремень.

Засвистел чайник. Пришлось спускаться. Закрывать газ.

Сквозняк в большой комнате хлопнул дверью. Он сорвался, побежал туда (а вдруг она?) – чего не бывает на свете?

В комнате было не убрано. Повсюду валялись тряпки. Тикали часы. В распахнутое окно смотрел синий вечер.

Остро пахло землей и прелыми листьями.

Ему все казалось, что он что-то забыл. Что-то пообещал и не сделал.

Что? Он растерянно огляделся. Прошел по комнате.

Вышел в коридор, заглянул на кухню, в ванную, в маленькую комнату.

Опять в большой комнате сквозняк захлопнул дверь.

На этот раз послышался резкий звон разбитого стекла. Будто в окно влетел камень.

В большой комнате ветер разбил окно. Как живая, летала по комнате занавеска. Он растерянно выглянул.

Ржавая оградка.

Баночка, накрывавшая что-то.

Что?

«Не забудь снять баночку, Саня...»

«Смешно. Ерунда!»

В маленькой комнате что-то упало. Что-то происходило в квартире. Что-то странное.

Он пошел посмотреть. Разбился напополам всю жизнь (40 с маленьким хвостиком лет) простоявший на трюмо фарфоровый барашек.

Кто-то отчетливо хлопнул на кухне дверцей холодильника. Звякнул ложкой о чашку.

Никого.

Табуретки нет. Ремень, свернувшись змеей, лежит на полу.

Кто-то вздохнул.

Кто-то легко прошел по коридору.

Кто-то разворошил платя.

Кто-то нашел то самое, теперь он отчетливо вспомнил какое.

И сложил аккуратно на полке подзеркальника.

Он вернулся к кладовке. Наклонился. Взял банку эмали. Грабельки. Лопатку. Кисточку.

Собрал в ведро.

Погрохатывая, спустился по лестнице.

Желтым пятном за его спиной горело окно большой комнаты. На земле льдинками лежали битые стекла.

Он снял баночку. Ничего. Ни намека на росточек.

Только ему показалось, как будто из-под истлевших тряпочек выскользнуло что-то невидимое. И теплое. Мотылек или бабочка. Вздох?

И не улетело. Не растворилось. Осталось рядом.

Как запах черемухи. Мимозы. И мандариновых корок.

Он собрал стекла в совок. Высыпал в мусорный ящик. Открыл банку. Остро запахло эмалью. Макнул кисточку. Стал красить оградку. Белые капли стекали с кисточки. Падали в седой после зимы ежик травы. Эмалевые слезы.

Обернулся. Понял, что потерял место, где должен был взойти росточек.

«Может быть, утром найду?» – подумал с надеждой.

Но утром ничего не нашел.

И следующим утром тоже ничего не было под окном, за оградкой.

Только седой ежик травы.

Он ждал.

Возвращаясь вечером, подходил. Подолгу, беспомощно свесив рукава, стоял у оградки.

И ждал.
Просыпаясь, подходил к окну.
Ничего не было...
Он ждал.

А на девятый день из-под земли, совершенно не в том месте, где он рассчитывал...
А по всей земле вдоль белой оградки, укрывая ее синим ковром, высыпали незабудки.

Валентин и Валентина

Одному человеку было совершенно не с кем поговорить. И поэтому он разговаривал сам с собой.

Иногда он так увлекался, что забывал, что разговаривает сам с собой, и ужасно раздражался; не дослушивал самого себя до конца, перебивал, горячился и ссорился сам с собой.

Когда этот человек шел по улице, он все время взмахивал руками, останавливался, качал головой и топал на самого себя ногами. А иногда он так кричал на самого себя, что самого себя пугался.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.